

ИЛЬЯ КОГАН

ПОЧТИ
НЕПРИДУМАННЫЕ
РАССКАЗЫ

МОЙ ПАПА — ХОДОК

Мой папа давно уже на том берегу. Днем он, наверное, бродит по небесным полям и считает. Считает, считает, считает... Помню, как виртуозно папа считал деньги. Зажимал пачку в левой руке и большим пальцем правой, предварительно поплевав на него, стремительно перебирал края бумажек. Только треск стоял... Трехзначные числа он перемножал в уме. И еще мог сказать, на какой день недели придется любое число на десять лет вперед.

А по вечерам, думаю я, мой папа присаживается к костру, у которого коротает время наше семейство. Недавно пришедшая двоюродная сестра Вера рассказывает земные новости.

— Готыню! — жалеет нас ее мать Фрима.

— Вус? Вер? — по привычке переспрашивает давно уже не глухая бабка Злата.

— А у Илюшки, — повторяет для нее Вера, — в сердце какую-то трубку поставили. А жена у него — художница. Выставки устраивает. Только Илюшка нас не зовет. Темные мы для этого.

— Подумаешь, фон барон... — замечает озверевшая от своей невинности тетка Рейзл.

— Вей так из мир! — вздыхает сердобольная Фрима.

— Херст? — обращается она в звездную тьму. — Дора, ты слышишь?

Мама не откликается. Она слышит, но подходить к костру не желает. Не уважает она наше семейство. За дикость и грубость. За «торгашество». За папины измены.

— Я так любила его, — жаловалась она мне. — А он с первого же дня начал шляться по шиксам!

Я помню. Ну, не то чтобы я со свечой стоял. И не то, чтобы увидел что-нибудь из ряда вон в том, что «шляться» с папой мы отправились одни, а мама осталась дома, встречать новый год в одиночестве. Ну, было, конечно, как-то странно... Случилось это, должно быть, до рождения брата Мишки. Значит, четыре мне еще не исполнилось.

А что? Детская память просыпается рано. Мне было около двух, когда умер дедушка Абрам-Мойше. Помню, как таскали в дом кислородные подушки, как мама уводила меня к соседке, тете Хане Краковой... Между прочим, на похороны дедушки меня не взяли. Нас с Сюней оставили дома, сторожить друг друга. «Только смотри, — предупредила мама, — не вздумай показывать дяде пальчик!». Дядя был сильно цидрейтер. Но, когда его не трогали, он безобидно думал о чем-то своем... Я крепился, сколько мог. Мы катали по деревянному стулу мышку на ниточке. Дернешь за ниточку, она втя-

гивается внутрь, и мышка катится на тебя. А потом назад... Но сколько можно возиться с неживой железкой. И я заскучал... Истал посматривать на дядю, который, наверное, тоже был не прочь поиграть во что-нибудь другое. Пальчик как-то сам собой выскользнул из моей ладошки. Сначала я сам долго и тщательно рассматривал его. Потом поднял выше. Потом выставил прямо перед дядиным лицом. Что-то в нем дрогнуло... губы растянулись в улыбке. «Хе-хе-хе...» — еще негромко засмеялся Сюня. Мне тоже стало смешно. И вот мы заливались наперегонки. Я даже не сразу заметил, что дядин смех становится похожим на плач. А когда он совсем зарыдал, забился в слезах, мне стало так страшно, так страшно!.. Я быстро-быстро забрался под самую дальнюю кровать и постарался плакать не очень громко...

Когда взрослые вернулись, им пришлось долго искать и будить меня... «Так я и знала! — сказала мама. — Ты все-таки показал ему пальчик!»...

А потом дедушка Абрам-Мойше стал бегать за мной во сне. Все бы ничего, если бы не был он почему-то без кожи. Полтуловища красного мяса!.. Ну не мог же я в свои малые годы видеть анатомический атлас. Не иначе как мне чей-то чужой сон приснился...

А тем зимним вечером мы с папой отправились в гости к Арбакситу. А, может, он был Арпаксит. Такой толстый дядька, папин начальник. Мы шли по дну белого оврага, поднимались вверх, и ночь была светлой от снега. Снег шуршал, сползая с еловых веток, скрипел под подошвами валенок. Было просторно и тихо. И только закутанные в снег дома пыхтели печными трубами.

Мы пришли первыми. — Ой, ой, ой! — заметалась жена Арбаксита (или Арпаксита), тетя Ната, — я же еще не одета!.. Она кинулась за ширму, завозила там, а я уставился на елку, с макушки до пят завешанную чудными шарами и цветными лошадками. Висели там и конфеты в серебряных фантиках, и золотые мандарины. А внизу в ватном сугробе утопал Дед Мороз. Самый настоящий, только меньше меня ростом.

Это была первая елка, которую я видел. И первый Новый год, который меня взяли встречать со взрослыми. Только без мамы почему-то. — А где же Дора? — спросила тетя Ната, выходя из-за ширмы. Нарядная такая. И сунула мне в руку мандарин. Она сняла его с елки. Он был прохладный и липкий — смола накапала. Я незаметно обтер его о штанишки (рейтузы папа с меня уже стащил) и стал отковыривать скорлупу. От запаха зачесалось в носу. Но чихнуть я не успел — в прихожей отряхивали обувь, здоровались, смеялись. Гости собирались на елку.

— А где же Дора? — спросила красивая тетя Таня, продавщица из папиного магазина. Папа только пожал плечами. Мол: — Хвейс? Я знаю?.. В нашей семье это

«Хвейс?» было любимым ответом на все вопросы. Но красивая тетя Таня не отставала: — Котик, а где же Дора?..

Я не успел подумать: «— а почему «котик»? Так мама называет только меня?..» — как тут же другой папин начальник, дядя Герцойг, стал приставать к папе: — Герш, ты опять один? Где Дора?.. Папа только приподнял плечо, но сказать свое «Хвейс?» не успел. Тетя Ната его перебила: — Она что, своего животика стесняется? — А! — вздохнули все. — Так вы ребеночка ждете!.. Сестренку этому бохеру!

Одна красивая тетя Таня не радовалась. — И когда это ты, котик, поспел? — приставала она к папе. Но дядя Арбаксит (или Арпаксит) и дядя Герцойг уже тащили его к дверям. — Поедем! Поедем! Какой же Новый год без Доры! — Не успеем!.. — пробовал сопротивляться папа. Но на него натягивали пальто и пихали в руки шапку. — Схватим машину и привезем твою Дору к самому Новому году!

Мы не скучали. Мы — это я и Зойка, дочка красивой тети Тани. Она была на год старше и во всю командовала мною. Первым делом ей приглянулся мандарин, который я не успел съесть. А не надо зевать!.. А потом: — Ну-ка, стащи с елки конфету!- приказала она. Я послушно потянулся за «Мишкой косолапым». А потом за еще одним... Вкусно было. А, главное, Зойка не воротила от меня нос, как на улице. Там она с такой малышкой не водилась.

На нас не обращали внимания. Женщины накрывали на стол, а потом встречали маму. Ее, и правда, привезли к самому Новому году. Успели.

Тетя Ната увела ее за ширму. Пошептаться. Туда же проскользнула тетя Лиза Грин. Только красивая тетя Таня не пошла. — За стол! За стол! — шумела она. — И включите радио! А то куранты пропустим!.. Задвигали стулья, расселись. Зойка, конечно, уселась рядом с мамой. А про меня как-то забыли. Я пристроился на краешке дивана и стал ждать, когда позовут. Но вот зашипело радио, и сквозь гудки машин пробился бой кремлевских курантов. — С Новым годом! С новым счастьем! — зашумели все. А папин начальник, дядя Герцойг, стоя, объявил: — За нашего великого вождя товарища Сталина!.. — Ура! — закричали гости. И застучали вилками. — Холодец! Куриный холодец! — предлагала всем тетя Ната. — А Доре гефилте фиш! Вот! Лучший кусочек для девочки!

— И мне гефилте фиш! — требовала красивая тетя Таня. — Я еще ни разу не ела еврейскую рыбу!.. — И мне! И мне! — повторяла за ней Зойка. И вот тут я не выдержал. Вспомнил, какую фаршированную рыбу готовила мама. — Мам! — дрожащим голосом попросил я, — а можно мне кусочек черного хлеба!.. И зарыдал.

Что тут поднялось! Меня по коленям переправили к маме. — Черного хлеба! — повторяли все жалобными голосами. А мама обливалась слезами не хуже меня. — Фейгеле! — причитала она! — И прижимала меня к груди. — Лихтере пунем! Тайере пунем!.. Мне совали в руки бутерброды с черной икрой. Но я все детство больше любил красную. Тугие красные икринки так звонко лопались под зубами!..

— Ну что, плаксуля? — потянула меня Зойка.- Наелся? Давай играть!

«Играть», по-зойкиному, значило пробраться под стол и потихоньку щекотать гостям пятки. Гости смешно дергали ногами, но не ругались. Всем было весело. А потом дядя Арбаксит (или Арпаксит) запел:

— Ломир але инейнем,
Ломир але инейнем,
Тринкен а биселе вайн!..

Гости грянули так, что стол заходил ходуном. И тут Зойке приспичило: — Давай целоваться!.. Тьфу! Охота была! Но с Зойкой не поспоришь. Да и из-под стола не выберешься... Пришлось прислониться к ее липким от конфет губам. Чуть не стошнило! А Зойка не отставала: — Нет, ты давай по-настоящему! Как твой папа мою маму целует!.. Надо же так, что в это время за столом все молчали. Закусывали после песни. И, видно что-то расслышали. Потому что с десятков ног разом достали нас. И гости нестройно, но очень громко повторили припев:

— Ломир але инейнем,
Ломир але инейнем,
Тринкен а биселе вайн!..

...Неземное пламя отражается в медленной Лете. Что-то у нашего костра поскучнело. — Дора! — вздыхает моя тетка Фрима. — Плюнь! У этих кобелей голова в штанах. Чтоб они все гешволн были!.. — Фрума, ша! — останавливает ее дедушка Абрам-Мойше. А бабушка Злата Семеновна горестно бормочет: — Абизоим!.. Абизоим фар ди гоим!..

Это я так думаю. Я же пока не сижу за этим костром. И маме мне сказать нечего. Я за папой со свечой не ходил. А вот как мама шарила по его карманам, искала верные улики папиной неверности, это да — это я видел! И досадно же мне было, что до глубокой старости она докучает отцу глупой ревностью. А вот дочери мои думают по-другому. — Ну, наш дедушка еще тот ходок был! — хором утверждают они. И намекают, что в нашем роду это семейное... Вот уж про кого, про кого, а про себя ничего такого сказать не могу. — Хороший ты человек, —

говорила одна моя приятельница. — Но не бабник!.. Не бабник!.. Мне даже как-то неловко было — ведь она это не в похвалу мне. Только вот жена Кира иногда смотрит на меня подозрительно и бурчит: — У, котяра!

Что она имеет в виду?

НЯНЯ МАНЯ

Мне кажется, там, на другом берегу, нет времени. Там всегда вчера-сегодня-завтра. И мама моя блуждает среди застывших секунд, которые давным-давно ушли из нашего мира. И когда она касается какой-нибудь из них, та откликается призрачным звуком. И долгое эхо сожаление и печали растекается по звездному небу. И в свете бестелесного костра является девочка в шерстяной шали и больших резиновых сапогах. А рядом корова, механически пережевывающая какие-то свои воспоминания.

— Манечка, это ты? — робко спрашивает мама...

Она появилась в нашем дворе за пару лет до войны. — Дора, вам, кажется, нужна домработница?.. Соседка, тетя Рая, тащила за руку шмыгающую носом девочку. Девчонка не упиралась, просто большие резиновые боты не поспевали за ней. — Вей так! — всплеснула руками мама. — Откуда такое горе?.. — Мы рязанские! — призналась девчонка. — Манькой меня кличут! — Маней? — переспросила мама. — Не...е... Маня — то наша корова. А я Манька... — Манька так Манька... — согласилась мама. — А что же ты Манька умеешь?.. — У-у! — загудела девчонка. — Всяко дело я могу! Ребятенка обихаживать... за коровой ходить... картоху чистить... или в кожуре варить... воду из колодца таскать... — Не морочь голову! — не поверила мама. — Ведра-то выше тебя ростом! Руки вывернешь, пока подынешь.

— Ну да!

Манька ловко подхватила два больших ведра и зашлепала ботами со двора. — Да у нее, небось, и паспорта нет? — засомневалась мама. — Какие в колхозе паспорта! — успокоила тетя Рая. — Поставишь участковому беленькую, он ей метрику выпишет...

А Манька тем временем уже протискивалась в калитку. Ведра пригибали ее к земле и тянули то в одну, то в другую сторону. Вода плескалась в ботах. Но ведра были поставлены к маминым ногам. — Шустрая я! — сама себя похвалила девчонка.

Я уж и не помню, в какой угол пристроили Маньку. Дом наш был когда-то не то баней, не то конюшней господина Эшке. Фамилию хозяина я запомнил, потому что свои первые стишки складывал в твердую обложку, на внутренней стороне которой сохранилась отчетливая надпись: «*ИЗ КНИГ ЭФРАИМА ЭШКЕ*».

Вот эту не то баню, не то конюшню перестроили под жилье. Получились четыре квартиры. Наша была самой крохотной. Но отдельной. И у нас была печка. Топка выходила в проходную комнатку. Летом, когда печь не топили, спать можно было здесь. А зимой Манькин матрац, наверное, запихивали под стол.

Главной заботой няньки стал братец Мишка. Он был на четыре года младше меня и в сорок раз голосистее. Что-то его в этом мире не устраивало, и свое недовольство он выражал, не стеснясь. Орал без умолку. Мои попытки ошеломить его еще более громким криком вызвали легкое изумление на зареванном лице и новый всплеск сотрясения воздуха. — Сгинь! — прогоняла меня Манька и увлакивала братца вон со двора. На улицу, где скрипели сосны и раздавался неумолчный стук мяча. Окрестные пацаны гоняли в футбол. — Пас!.. — Отдай мне!.. — Го-ол! — вопили они. И вдруг все сразу и горестно: — Уй-юй-юй!.. Это значило, что мяч со всего маху напарывался на острие копья, которое украшало зеленый забор господина Эфраима Эшке.

Это было время, полное солнца и хвойного духа смолы. Время, когда в мире еще водились волшебники. Звали их татарами. Они прилетали на телегах, нагруженных сказочным добром.

— Старье берем! — зычно кричали они. — Бутылки!.. И надо было лететь к маме и хватать в охапку пустую, а иногда и не очень, стеклянную посуду. И втискиваться в гомонящую толпу ребятни... За бутылки татарин давал мячик на резинке, глиняную свистульку или даже «пугач» с пистонами. А то еще туго свернутую красную трубочку. В нее полагалось дуть, пока она не распрямится и не вытянется во всю длину. А потом вырвется из рук, заскачет по траве и заорет дурным голосом:

— Уйди! Уйди! Уйди!.. Тут даже Мишка замолкал и, кряхтя, сползал с Манькиных рук.

— Ди!.. Ди!.. Ди!.. — умильно повторял он.

И почти каждый день во двор привозили мороженое.

Мороженое! Ах, если бы вы жили до войны, вы бы знали, что это такое: услышать за оградой двора скрип тележки мороженщицы! Из ледяного нутра тележки она

доставала хитрые машинки: маленькую среднюю и большую. Это были такие круглые коробочки, на дно которых добрая тетенька укладывала вафельные кружочки: маленький, средний и большой. Потом она зачерпывала ложкой ком мороженого и разравнивала его с краями коробочки. Сверху все это накрывалось еще одним вафельным кружочком. Глотая слюны, ты смотрел, как дно коробочки приподнимается, выталкивая готовую для наслаждения порцию сладкого чуда: за три копейки... за пять... и еще не помню за сколько.

Такое мороженое не полагалось кусать, его нужно было лизать между вафлями, поворачивая по кругу от носа к подбородку. Оно таяло на языке, холодило зубы и умоляло не спешить, тянуть удовольствие. Но это была коварная просьба. Проворное солнце опережало тебя, заставляя делиться с рубашкой, штанами и землей.

— Мам! — неся ты с ревом домой. — Мороженое упало!

Манька прижилась у нас. Она, и правда, оказалась проворной и безотказной. И дров наколоть, и печь растопить, и за керосином слетать — ни от чего не бегала. Только бы не отправляли домой, в голодную рязанскую глушь... Другое дело, что Москву, настоящую Москву, она так и не видела. Мы же жили в Кунцеве, дачном пригороде. От нас ходил паровичок до Белорусского вокзала. А на автобусе можно было подъехать прямо к Большому театру.

То-то Манька насмотрелась, когда мама повезла нас к фотографу на Дорогомиловскую заставу. Чуть голову не отвертела. — О!.. — повторяла она за кондуктором, — Еврейское кладбище!.. — О!.. Русское кладбище!.. — О!.. Фабрика-кухня!.. Но сильнее всего она разохалась, когда с визгом и треньканьем дорогу нам пересек трамвай. — Трамвай! Трамвай! — подкидывала она Мишку на коленках. — Дзинь! Дзинь! Дзинь!.. — Зинь! Зинь! — вторил ей братец.

Но как же он разорался, когда его попробовали оторвать от няньки и оставить одного перед огромным деревянным ящиком. А уж когда дядя-фотограф сунул голову под черную тряпку, Мишка просто зашелся криком. — Смотри! Смотри! — успокаивал его фотограф. — Сейчас птичка вылетит!.. Какая птичка? Тут уж брат испугался на всю катушку. Мы недавно были в зоопарке, и самым страшным Мишкиным воспоминанием был ободранный гриф с огромным клювом и воротником из грязных перьев. Та еще птичка!

Только Манька смогла хоть чуть-чуть уговорить брата. — Ай, дуду!.. Ай, дуду!.. — прижимала она его к груди. — Ходит козлик во саду... Роги острые точит, Мише плакать не велит...

Мишка, и правда, перестал орать. Только носом сопел. — Птичка! — приказал фотограф. Манька даже отскочить не успела. Так и остались они на фотографии: заходящийся новым криком Мишка и большая Манькина тень за его спиной.

Зато я почти не боялся. Сел на стульчик лицом к фотографу и стал покорно ждать «птичку». Таким и получился: смирным скучным мальчиком с чубчиком на лбу и большим бантом, из концов которого торчали неровные нитки. И с ободранными носками туфельек. — Не могла бохеру обувь почистить! — ворчала потом вечно смурная тетка Рейзл. Не любила она маму.

Был у нас кожаный диван. С полочкой, на которой стояли семь белых слоников. А еще и трельяж — в середине зеркало побольше, а по бокам две зеркальные створки. И надо же такому случиться: распрыгался я на этом диване, зацепил плечом трехногую красоту, и грохнулось она — сначала мне на спину, а потом уже и на пол. — Теть Дор! — побежала доносить Манька. — А ваш Илюшка зеркалу скинул!.. — Вей из мир! — схватила за голову мама. — Быть большому цуресу!.. Так она до самой смерти и верила, что война началась из-за разбитого мной зеркала. А что? Ведь не прошло и недели...

Немцы прилетали ровно в десять. Часы можно было проверять. Мы успевали допить чай и отправлялись в «щель» — бомбоубежище, вырытое всем двором у забора. Пахло сыростью и страхом. Все сидели, тесно прижавшись друг к другу, и только отдельные смельчаки выглядывали в приоткрытый люк. Как-то раз мне удалось соскочить с маминых колен и вскарабкаться к выходу. По черному небу скользили лучи прожекторов, то тут, то там вспыхивали огоньки разрывов. — Фили горят! — испуганно сказал кто-то из мужчин. Далеко в стороне города небо было красным как на восходе. Горел толевый завод — узнали мы потом.

— Ты хочешь моей смерти! — рыдала мама, стаскивая меня с лесенки.

Однажды взрыв прогремел совсем рядом. С потолка «щели» с сырым шорохом посыпалась земля. Утром оказалось, что окно комнаты, заклеенное крест-накрест, распахнуто взрывной волной. Бомба, упавшая на соседней улице, похоронила древних старушек в неглубокой «щели».

— Все! — сказала мама. — Надо уезжать!.. Она раздобыла три места на поезд в Сибирь. Это называлось «эвакуация». Назавтра папа пригнал полуторку. Мама не успела оглянуться, как Манька уже сидела на чемоданах с Мишкой на коленях.

— Маня! — строго окликнула ее мама. — Ну-ка слезай!.. — Куды? — сделала вид, что не поняла, Манька. — Домой! — разъяснила мама. — Вот тебе деньги и ез-

жай в свою Рязань, домой!.. — Куды? — снова не поняла Манька. — Я к вам няня-лась, я с вами и еду! — Куда? — теперь не поняла мама. — У тебя же ни паспорта, ничего... Да и талона на тебя нету. Кто тебя в вагон пустит!.. Манька только крепче стискивала орущего Мишку. — Я шустрая! — нахально заявила она. — Пролезу!..

Вот так и оказалась Манька в нашей теплушке. Мы с мамой разместились на нижних нарах. А наша нянька — под ними. И не высовывалась, пока поезд не тронулся.

Я не буду рассказывать, как мы добирались до Сибири. Как нас бомбили в первую ночь. Как мы лежали в поле, в каких-то воронках. В небе гудели самолеты, что-то сверкало, что-то ухало совсем рядом. А Мишка надрывался ревом. И люди вокруг кричали, что немцы там, наверху, слышат этот крик, у них такие аппараты есть! И что его белое одеяльце с неба видно. И прямо стаскивали с брата это несчастное одеяло. Мама плакала, Манька не знала за что хвататься — то ли за одеяло, то ли за Мишку. Выбрала все-таки Мишку.

— А одеяльце-то было из чистого пуха! — жалела потом мама.

Мы ехали долго-долго — через леса, через горы, переезжали тысячи рек. На станциях к нам приставали разные дядьки, уговаривали оставаться у них в колхозах. — Нет, — отвечала мама, — мы едем в Омск!..

Почему в Омск? Там жили наши дальние-предальные родственники. Седьмая вода на киселе. Но перед войной они гостили в Москве. Мама надеялась, что они нас приютят.

И правда, нас пустила к себе тетя Катя. Уж не знаю, кем она нам приходилась. Но все-таки не чужая. Муж тети Кати и старший сын были на фронте. А младший, Ленька, второй год ходил в третий класс. А еще у тети Кати была корова. И вот чудо: звали корову Маней. — Ну, прям, как у нас в Рязани! — удивлялась наша няня.

Тетя Катя поселила нас в комнате, где была всего одна кровать. На ней спали мама с Мишкой. А мы с Манькой на полу. Первые два-три месяца мама платила тетя Кате — как договорились. Деньги присылал папа. Но потом их стало не хватать. Вот тогда мы узнали, что такое сибирская еврейка. От криков тети Кати стекла в окнах звенели. — Капцонес! — шумела она. — Завтра же все вон из моего дома! Чтоб духа вашего не было! — Да мы заплатим! Заплатим! — пробовала уговорить ее мама. — Вот придет перевод... — Ой, держите меня, евреи! — надрывалась тетя Катя. — Хай как серебром вы заплатите! Голодранцы! Враги народа! Нечего было из своей Москвы бежать!

А потом в Москве была паника. И кунцевские родичи всем скопом притащились в Омск: бабка Злата, тетка Рейзл, тетка Фрима и мои двоюродные Жанна и Вера. И с ними мой дядька Сюня, которого на фронт не брали из-за больных мозгов. И все, конечно, втиснулись в нашу комнату. И стало нас всех одиннадцать душ. Тетя Катя аж почернела от злости. Но где ж ей было сладить с таким кагалом.

Так мы и жили. И няня Маня с нами. Тягкалась с Мишкой, бегала за водой, а по утрам помогала тете Кате доить корову. Корову донимали слепни. Вот она и отмахивалась хвостом и дергала ногами, норовя опрокинуть ведро. Надо было одной рукой держать хвост, а другой отгонять назойливых тварей. Дзинькали по ведру молочные струи. В сарае Манька уговаривала корову:

— Ну, стой, стой, Манечка, смирно!.. Ну, не маши хвостом! Потерпи!.. Потерпи, тебе говорят!..

Осенью Мишу отдали в детский сад. На неделю. В понедельник с утра мама отводила его на автобус, и Мишку увозили куда-то за город. А в субботу мы с Манькой встречали его.

Она, видно, не умела жить, не обихаживая кого-то. Так уж была устроена. И теперь, без Мишки, привязалась к корове. Сделав свои дела по дому, бежала в сарай. — Манечка! Голубушка! Красуля моя!.. И пока тетя Катя была на работе, выводила корову пастись. На кладбище. И я с ними.

Казацкое кладбище было рядом с домом — только дорогу перейти. Манька первой заглядывала в ворота — не видно ли строгого директора. И потом быстро-быстро загоняла нас в дальний угол, подальше от ворот.

Мне было хорошо. Я сидел на могильной плите, мурлыкал что-то и щурил глаза на солнце. Желтый круг разбивался на цветные иголки, и я мог заставить их крутиться в разные стороны...

В кустах шуршала корова. Слышно было, как она трясет прутья, вытягивая сквозь них пучки травы. Траву между могилами она давно объела... «Надо бы перейти на другую сторону...» — лениво думал я. И в пол уха слушал Маньку, которая, водя пальцем по строчкам, читала вслух какую-то историю про путников, заплутавших в степном буране и про нечаянно явившегося проводника. И еще что-то про заячий тулупчик.

Осень была солнечной. И от тепла и манькиного бормотанья меня давно тянуло в сон. Но тут вдруг корова вышла из-за могил. Не переставая жевать, она наострила уши в сторону улицы.

—Хоронют! — сказала няня Маня. Теперь и я услышал в дальнем конце Партизанской глухие удары барабана. Хоронили здесь редко, кладбище еще до войны собирались закрыть. Я старался не пропускать похорон. Бежал за катафалком, спешил успеть, чтобы увидеть, как гроб опускали на принесенные из конторы табуретки, открывали крышку и зажигали свечку в желтых руках покойника. Я его совсем не боялся. Приходил поп и принимался махать коптящим горшочком на цепи. И дым от поповского горшочка клубился вокруг острого носа, торчащего из цветов. — Вот бы чихнул! — думал я. — И все бы заорали: будьте здоровы!.. А потом начиналось самое главное. Кто-то из родственников раскутывал миску, в которой лежал теплый еще рис с изюмом. Провожающие и нищие выстраивались в очередь, и каждый получал в подставленные ладони горстку вкусного варева. И мне доставалась хорошая пригоршня.

Вот потому-то я и стал приставать к Маньке: пойдем да пойдем! — Рисом же кормят! — уговаривал я ее. — Куды с коровой! — не соглашалась Манька. — Да мы тихоньку, а Маню спрячем... А зато рис, знаешь какой вкусный! С изюмом!

К тому времени я уже всегда хотел есть. Хлеб был по карточкам, а все вещи, которые привезли с собой, мама давно выменяла на еду.

— Во причепился на мою голову! — ругалась Манька. Но я не отставал. Я знал: если долго нить, Манька устанет и махнет рукой. Так и вышло.

— Ты ж хуже горькой редьки! — рассердилась она. И стала завязывать на Маниной шее веревку. А я думал: да пусть сердится, лишь бы не опоздать.

Мы успели. Миска была еще наполовину полна. Я пристроился к очереди. Нищие уже знали меня и только тихонько ворчали. А вот Маньку с коровой они пускать не хотели. — Ишь! — шумели они. — На русские похороны с яврейской скотиной! Мало нам мальчонки-яврейченки! — Обломы сиволапые! — огрызалась няня. — Малые дети явреями не бывают!.. Я это запомнил — в школе ох как пригодилось!..

Пришлось-таки Маньке завести корову за ближнюю оградку. Потом она шустро пристроилась за мной. Нам положили в ладони по ложке риса. Я быстренько проглотил свою порцию и снова пристроился в очередь. Нищие давно уже стояли по второму разу. А я что ли рыжий... Когда раздача была совсем рядом, раздался вдруг злобный крик: — Опять эта корова! Кто пустил корову на погост?..

Директор кладбища, дядя Вася, лупил по маниному боку ее же веревкой. Корова шарахалась, пугая народ.

— Сколько говорено! — прихрамывая, наседали на нее дядя Вася. — Не водите вашу корову на погост! Не мешайте прощанию!..

Он схватил веревку и потащил корову к конторе. — Ой-юй-юй! — запричитала Манька. — Отчепись от коровки, грабастик!.. — Под арест! — не уступал директор. Он загнал Маню в сарай и закрыл его на замок.

— Пропала моя красуля! — скулила Манька. А я думал: — Пропали мы! Что с нами сделает тетя Катя!

Я как в воду глядел. В доме случился тарарам. Или, как говорила бабка Злата, хамишуцер. Зря что ли мама называла тетю Катю «еврейской казачкой»? Каких только проклятий не сыпалось на голову бедной няни. — Капцонес! Гановер!.. Чтоб ты сгорела! Чтоб небо на тебя упало! Чтобы на кладбище места для тебя не нашлось!..

Она ругалась и плакала: — Погубили мою кормилицу! На что я теперь жить буду!

Манька только носом шмыгала. А что ей было говорить? Что это я заставил ее вести корову на похороны? Что ей не хватило духа отвязаться от приставучего мальчишки?

Вдоволь накричавшись, тетя Катя достала из одежного шкафа бутылку с белой головкой и затопала на кладбище.

Корову она привела. Но с того дня что-то пошло не так. С коровой Маней, то есть. На кладбище ее больше не водили. Сено она жевала как-то скучно. И доиться почти перестала.

— Порчу навели! — вздыхала грустная Маня. Я как-то не очень понимал, что такое порча. Но что корове плохо, видел своими глазами. Когда тети Кати не было, мы забирались в сарай, и Манька пробовала скормить Мане принесенную с кладбища траву. Корова только шумно вздыхала, а рот открывать не хотела. — Ешь, Манюня! Ешь, красуля моя! — уговаривала корову няня. И гладила ее по нечесаной шерсти.

А как-то раз, когда мы встречали брата Мишку из детского сада, нас долго не хотели пускать во двор. Когда открыли калитку и мама приняла зареванного сына, Манька первым делом кинулась в сарай. Как будто почувствовала что-то.

— Манюня! — закричала она оттуда. — Где ты, голуба моя!.. Продали!.. Продали красулю мою! — догадалась было она. А потом вышла из сарая и увидела в углу двора что-то темное и мокрое, висящее на веревке. И с него капала вода.

— Зарезали! — заголосила нянька. — Убивцы! Грабастики поганые!.. И прижималась лицом к мокрой шкуре. А тетя Катя только молча смотрела с крыльца.

Вечером, когда все уже улеглись, мама громким шепотом стала уговаривать няню: — Надо тебе куда-то устраиваться, Маня! Сколько же можно так жить?

Без паспорта, без карточек... — Домой поеду! К мамке! — таким же шепотом отвечала Манька. — Куда? — не соглашалась мама. — Как ты до своей Рязани доберешься? Время-то военное... — А куды ж мне? — захлопала носом Манька.

— Надо тебе в ремесленное. Там кормят и одевают. И учат чему-то...

— А то ж, — соображала девчонка. — И пойду. Я этих ремеслух в городе вижу. На вид складные. А то что я у вас? Только хлеб зазря ем...

— Вот и хорошо! — обрадовалась мама. И вдруг тихо заплакала: — Что же получается? Завезли мы тебя и, выходит, бросили... Что я твоей матери скажу, если спросит? Куда мы ее дочь дели?

— Ниче. Не пропаду! — утешала ее Манька. — Я шустрая!

Она навещала нас по выходным. Приходила такая, что и не узнать было. В черной шинели с блестящей пряжкой на ремне, а на голове черный берет с молоточками. Брат Мишка пугался и начинал орать... — Манечка! — радовалась мама. — Как ты там?.. — В порядке! Карточку рабочую дали! И кормят три раза! И постелю чистую стелют!.. — Не обижают тебя? — волновалась мама. — Я сама кого хошь обижу!..

А потом она стала работать на заводе. И появлялась у нас все реже. А потом маме прислали пропуск в Москву. И снова на трех человек. А Маню никто бы и не отпустил. Она теперь была как мобилизованная.

Больше мы Маньку не видели. Только мама иногда вздыхала неизвестно почему.

Я представляю, как она там бродит, на другом берегу. И ждет, когда появится девочка в резиновых сапогах и корова рядом с ней. — Маня, это ты? — робко спрашивает мама. А я вспоминаю, что где-то есть старая фотография. На ней мой маленький брат и тень на стене. Птичка вылетела.

АБИЗОИМ — ЗНАЧИТ «СТЫДНО»

Пока она еще жила с нами, Манька с утра пораньше отправлялась на базар.

В то утро, о котором я хочу рассказать, Манька ни свет, ни заря заколготилась в своем углу, зашуршала, заворчала что-то, Собиралась на базар... — Теть Дор, а куда деньги делись? — безобразно громко зашептала Манька. — Вечером были в моей сумке, — сиплым со сна голосом подсказала мама. — Да уж я все бебехи из нее вы-

трясла, а ничего нет! — Где ж им еще быть!.. Мама нехотя выползала из угрюмого лежбища, а я тихо-тихо задвигал себя за спину младшего братца. Ох, чуяло мое сердце!..

— Ленька-подлец! — вдруг догадалась мама. — Он, ворюга, весь вечер здесь крутился!.. — Ну, душа из него вон!.. Манька и мама кинулись в хозяйскую комнату. В сенях загремело — они вооружались. — Вот он! Под кроватью! — кричала Манька. — Забился гад... Веником не достать!.. — А ты метлой! Метлой его!..

— Отдавай деньги, жид яврейский!.. Маньке было пятнадцать лет, и «жида яврейского» она привезла из рязанской деревни. «Явреи, — говорила она, — люди хорошие, а вот жида!.. Христа замордовали!..

— Отдавай деньги! — вопила Манька. — Отдам! Отдам! — извивался под кроватью Ленька. — Запереть его в чулан! — распорядилась мама. — Катя придет, пусть с ним разбирается!

— Не брал я ваших денег! — плаксиво канючил Ленька. — Вот они! Мне ваш Илья дал!.. Забирайте!.. — Врешь! — не своим голосом закричала мама.

Дальше все было неразборчиво, потому что я забился головой под кровать. Спрятаться глубже мешал мешок с картошкой и корзина с зелеными помидорами. Извлечь меня не стоило труда.

— Сыночек! — Смотреть на маму было страшно. — Он же врёт?.. Да? Правда?.. Ты не брал этих денег?

Я не был обучен врать. И поэтому побежал. Вокруг стола. Руша стулья и перепрыгивая через них. За мной с ремнем и слезами бежала мама.

— Как ты мог!.. Как ты мог! — причитала она. — Держи его! — подзадоривала Манька. — Воришка! Воришка! — добавляли перца двоюродные Жанна и Вера. — Гевалт! — вопила бабушка Злата. — А что я говорила! — злорадствовала тетка Рейзл. — Гей дрерд! — как всегда советовал ей сумасшедший дядя Сюня. И вплетался в общий хор голос сердобольной тетки Фримы: — Вей из мир! И тут тебе цирк с утра! И тут тебе театр! И все за бесплатно!..

Я бежал вдумчиво. Иногда расчетливо притормаживал, чтобы мамин ремень не рассекал воздух впустую. При каждом ее попадании я взывал дурным голосом. — Вау-у! — подзадоривали меня сестренки. — Вей так из мир! — стонала Фрима. В смысле «горе мне!». — Абизоим фар ди гоим! — ворчала тетя Рейзл, наверное, имея в виду Маньку. — Илюшенька! Сыночек! — рыдала мама. — Ин дрерд! Ин дрерд! — возбуждался дядя Сюня. И вдруг, вспомнив что-то давно забытое, влепил плюху тетке Рейзл.

— Пожар! — радостно закричал он. — Горим!

Вконец обессилев, мама упала на стул. — Как ты мог! Ты!.. Ты!.. Сыночек!.. — она не находила слов...- Это Ленька... Ленька... — с присвистом всхлипывал я, прикидывая, не повыть ли еще немножко.

Конечно, это была Ленькина затея. Мне было семь, а ему двенадцать, и в каждом классе, начиная с первого, Ленька просиживал по два года. По утрам он деловито хлопал калиткой, выходя со двора, потом осторожно огибал забор и перебрасывал портфель в заросли бузины, где уже караулил я. Бум! — и портфель шлепался в землянку, где раньше жили куры. И теперь мы были свободны... Как много можно было успеть за неяркий осенний день! Накататься на подножке трамвая... наплеваться с моста на проходящий внизу буксир... напробоаться рису с изюмом в очереди нищих на соседнем кладбище... или протыриться через окно туалета на дневной сеанс, чтобы в двадцатый раз посмотреть «Волгу-Волгу»...

А вчера мы с Ленькой увидели чудо. За пыльным стеклом витрины в бархатном гнезде футляра тускло мерцало что-то.

— М...м...микроскоп! — Ленька, когда нервничал, заикался. — Вот бы нам такой! — Кино показывать? — не понял я.

— Б...б...балда! М...м...микробов смотреть! Вот! — протянул он давно не мытую руку. — На вид чистая, а в микроскопе!.. У-у! У...у...усатые, колючие! Хичники!.. — Как вошки?.. — Мама говорила, что если волосы не расчесывать, вошки сплетут из них косички и уволокут в реку!

— В... в...вошку простым глазом в...в...видно, а микроба иди рассмотри!

А он, зараза, всякую холеру разводит!

Нет, все-таки Ленька недаром так долго учился... И цифры он умел читать. — Четыреста пятьдесят... — разобрал он на бумажке. — Много? — не понял я. — Е...е...если копить по рублю в день... п...п...получится четыреста пятьдесят дней... — А если по два?..

— Умножить на... два... Или р...р...разделить? — задумался Ленька. — Так давай прямо сегодня и начнем! — предложил я.

Вечером я принес ему первую монетку.

— Три копейки?.. — скривился Ленька. — Так мы до морковкиного заговненья копить будем...

Я не стал спрашивать, когда это заговнение настанет и принес еще монетку. — Пятнадцать? — Ленька горестно покачал головой. — Бумажные нужны!..

Мне шел восьмой год, и я знал только, что рубль — это бумажка с шахтером. Была еще бумажка с красноармейцем... А вот в маминной сумке лежали деньги с летчиками. Сегодня пришел перевод от папы. Мама с хрустом разорвала цветную полосу и бросила пухлую пачку в сумку. Дядя Сюня мгновенно выдал нужный расчет: — Тридцать три поллитры!

— Аид а шикер! — обидела его тетка Рейзл. — Батрак!

Я принес Леньке двух «летчиков». — Ага! — обрадовался он. — Другое дело!.. — Хватит? — с надеждой спросил я. — Т...т...ты что! Это ж всего десятка!.. Я еще три или четыре раза заглянул в сумку. — Не заметят? — беспокоился Ленька. — Не... Там еще много...

Утром оказалось, что я перестарался.

— Как? Как ты мог? — не могла успокоиться мама. — Разве ты видел, чтобы кто-нибудь из нас взял хоть соринку чужого? Разве тебя кто-нибудь учил воровать?.. — Не-е... не учил... — канючил я. — Зачем же ты залез в сумку? Зачем взял деньги? Пятьсот рублей!.. — Неча-а-янно... — проблеял я.

— Тридцать три поллитры! — уточнил сумасшедший Сюня. — Вей так гитлер им пунем! — сказала свое слово бабушка. — Бабушка! — поправила ее Жанна. — Это не Гитлер, это Илюшка деньги стырил! — Нехай!..

— Абизоим!.. — твердила свое Рейзл. То есть: стыдно.

Стыдно, конечно.

ОЧАГ КУЛЬТУРЫ

Иногда, мне кажется, я вижу и Соломона на том берегу. Его не устраивает вечный покой окоченевших секунд. Он сердито пинает их ногой. Звон стоит на всю вселенную. — Чего он хочет, этот шлемазл? — пугается баба Злата. — Этот гановер? — уточняет тетка Рейзл. — Этот жулик и здесь морочит головы людям...

И правда, Соломон жарким шепотом уговаривает маму купить билет на приход Мошиаха: — Мадам, это будет зрелище! Вы не пожалеете!..

Мама знает, что от Соломона, кроме неприятностей, ждать нечего. И все-таки слушает. Хоть какое-то развлечение от вечной скуки.

Соломон появился у нас в самый подходящий момент. Папа и мой сумасшедший дядя Сюня бегали наперегонки с пилой. От дерева и обратно к дереву. Туда и сюда.

— Капцонес! — орала хозяйка, тетя Катя. — Вы что, никогда пилу не держали!

У папы сделалось та-а-а-кое лицо. Он снова вцепился в ручку пилы, как в хвост крокодила. И что было сил дернул. Сюня побежал за убегающей пилой, догнал и потащил на себя. Теперь побежал папа.

— Герш! — закричала мама. — Ты хочешь стать совсем инвалидом!

Папа остановился, хотел что-то ответить ей, но тут набежавший Сюня со всего маху саданул его в грудь. Оба упали. А пила замахала крыльями и запела, подвывая голосу тети Кати:

— Готыню! Ну почему мои мужчины на фронте!

Это что она хотела сказать? Что ее мужчины воюют? А наши в тылу ошиваются? Так она же знала, почему и папа, и Сюня не вояки. Сюня был чокнутым от рождения. А папу вернули с фронта — у него старая грыжа вылезла. А в это время немцы разбомбили магазин, где он работал. В Москве началась паника. Вот папа и дернул в Сибирь. Конечно, в Омске его тут же мобилизовали и отправили служить на военный склад. Так что он тоже ковал победу — на своем рабочем месте. И нечего было тете Кате на него наезжать...

Я не успел толком обидеться, потому что за забором раздался скрипучий голос:

— Ты, марак, красивый сам собою

Тебе от роду двадцать лет...

Потом так же скрипуче отворилась калитка, и во двор, стуча палкой, вошел Соломон. Откуда я знал, что Соломон это Соломон? Так он же был папиным помощником в магазине. И это он пригнал грузовик, который отвозил нас на вокзал. И он же сунул сидящей в кузове Маньке две коробки с лимонными дольками.

— Что за шум? — спросил Соломон, как будто был здесь только вчера. И сам же себе ответил: — Где больше двух евреев, там уже митинг

— Соломон? — не поверил своим глазам папа. — Какая холера тебя принесла?

— Родина-мать! — ответил Соломон. — Позвала на фронт! А потом и наградила.

Он задрал штанину, и все увидели деревянную культю. — Вот этим. И вот этим... Теперь Соломон выпятил грудь, на которой блестела медаль. — В-в-вот это да! — заикаясь от восторга, подскочил к Соломону хозяйский сын Ленька. — 3-з-за отвагу! — прочитал он.

— И отпустила на все четыре стороны, — продолжал Соломон. — Таки я вспомнил, что у меня же есть друзья в Сибири. Почти родня...

— Радости — полные штаны, — сказала мама, не любившая Соломона. — Вот и хлебайте! — злорадно вставила тетка Рейзл, не любившая маму.

А тетя Катя тут же поставила Соломона на место: — Дом у меня трещит, как арбуз. Даже кошкин половик положить некуда!

— Мадам! — успокоил ее Соломон. — Я найду, где жить!.. А пока я хотел бы знать, что за дела творят эти ешиботники?

— Послал бог на мою голову! — скривилась хозяйка. — Сухое дерево спилить не могут! Пильщики!..

— Еврейские мастеровые! — поправил ее Соломон. И подмигнул папе, чтобы тот не обижался. — А чем вам не дает жить это трухлявое полено?

— Падать ему приспичило! Прямо на мою кормилицу!..

Тетя Катя махнула рукой в сторону сарая, где шумно вздыхала недавно купленная корова Люба.

Соломон по-хозяйски заглянул туда. — О! — удивился он. — Столько мяса и молока!.. Все для фронта, все для победы!

Ну да... — то ли согласилась, то ли нет тетя Катя. — Я для фронта мужа и сына отдала. Уже и довольно, по-моему.

Мадам! — предложил Соломон. — Дайте мне веревку, и пусть эти лесорубы идут кушать компот. А мы с вами как-нибудь вдвоем...

Тетя Катя вынесла из сарая веревку. Один ее конец Соломон забросил на дерево, а второй перекинул через забор. И велел папе с Сюней тянуть его с той стороны. Потом он прислонил свою палку к сараю и ухватился за ручку пилы. Тетя Катя ловко подхватила другую. — Столько болячек моим врагам, сколько цуреса яхватила из-за этого дерева! — сказала она. И дело пошло. Соломон завел свое любимое:

— *По марам, по волнам,*

Нынче здесь, завтра там...

Он так и пел: «марак», по «марам»...

Пила завжикала, зазвенела. Дерево закачалось. — Тяните! — приказал Соломон. Папа, Сюня, и мы с Ленькой (как же без нас!) изо всех сил потащили веревку на себя. Трах-тарарах! Дерево повалилось на забор, хлестнув нас сухими ветками. — Гвалт! — закричала баба Злата с крыльца — Погром!.. — А мама, конечно, выдала свою долю паники: — Герш! Сыночек! Вас не убило?

Двор без дерева стал голым. Только в самом углу краснел куст бузины.

Я до сих пор не пойму, почему папа позволял Соломону командовать собой? Может, он чувствовал себя виноватым из-за того, что Соломон был на фронте и потерял там ногу? Сколько раз мама говорила ему: — Ох, Герш, наслушаешься ты этого... на свою голову!.. Папа только хмыкал в ответ.

Так что, когда Соломон затеял строительство на базаре, папа не только целый выходной таскал там доски. Он и в долги влез, чтобы помочь Соломону в его затее.

— Что они там строят? — гадали мы с Ленькой.

Утром, как всегда, Ленька вышел в калитку, помахивая потерханным портфелем. Но на улице он сразу же завернул за угол и привычным движением перебросил портфель через забор. Я вытащил его из куста бузины и закинул в куриную землянку, которую мы сделали своей «пещерой». Теперь мы были свободны.

У базарных ворот милиция разгоняла «толкучку». Надрывались свистки, продавцы, не больно-то торопясь, растаскивали по кустам швейные машинки и примуса, керосиновые лампы и зажигалки из толстых гильз. Эвакуированные запихивали в сумки заштопанные мужские костюмы и залатанные сапоги. Где-то верещал будильник. И только раненые из госпиталя и не думали отходить от патефона, который хриплым голосом пел о том, что «в степи под Херсоном высокие травы, в степи под Херсоном курган»... У нас дома была такая пластинка, и я знал, что «десять гранат не пустяк».

На самом краю базара Соломон заколачивал гвозди в крышу новенького сарая. Как он туда залез? Со своей деревянной ногой? Да еще и пел при этом:

— *Ты не плачь, не плачь, моя Маруся,
Я марскому делу научуся,
И не стоит плакать и рыдать,
Меня так часто вспоминать...*

Это был какой-то чудной сарай. У него были два входа, но оба без дверей. Зато каждый был загорожен стеночкой. На одной был нарисован мальчик. На другой — девочка.

— Сортир! — догадался Ленька.

И, правда! Чего на этом базаре никогда не было, так это уборной. Народ бегал в кусты за оградой. Нogu там поставить было некуда. Но никто не жаловался. Интересно, подумал я, с чего это вдруг Соломону вздумалось менять базарные порядки?

— А можно посмотреть? — спросил я у строителя.

— Куда! — закричал тот с крыши. — Не видите — стройка!

— Да мы только...

— Завтра! Завтра открытие!.. Приходите и смотрите, сколько влезет! И все остальное делайте!.. Только не забудьте денежку прихватить!

Ага! — догадался я. — Вот, оказывается, в чем гешефт Соломона! Сортир-то будет платным! Ну, это еще надо, чтобы люди согласились платить...

На следующий день мы были тут как тут. Базарной «толкучки» сегодня не было. Весь народ толпился возле новенького сортира. Он был украшен еловыми лапами и огорожен красной ленточкой. Раненый наявничал на гармошке «Катюшу». Цыганята ходили колесом. Было как на празднике.

Потом какой-то начальник говорил речь. Начал он, конечно, с подвигов красноармейцев на фронте. От них перешел к труженикам тыла, рассказал о героических рабочих и колхозниках нашей области, и похвалил дирекцию рынка. В тяжелых военных условиях она подарила городу... Как же он сказал?.. Костер?.. Нет... Печь?.. Нет... Очаг! Он сказал: — Еще один очаг культуры!

Все захлопали. Раненый заиграл «Варяга». Соломон протянул начальнику ножницы. Тот разрезал ленточку. И важные люди неторопливо потянулись внутрь. Мужчины за стенку с мальчиком, женщины — за девочку

Правда, тут что-то пошло не так. В мужском отделении стало слышно глухое ворчание. Потом зазвенели шлепки, и раздался отчаянный детский визг. На улицу выскочил Соломон с голоштаным цыганенком под мышкой.

— Чье? — строго спросил он.

— Мое! — молодая цыганка прямо вырвала ребенка у Соломона. Да еще и выдала ему что-то не очень ласковое. Но он только усмехнулся и негромко объяснил:

— Проскользнул паршивец допреж всех... И хороший след оставил! Прямо на полу!

Из сортира вышла старушка в синем халате с ведром и мокрой шваброй. И знаете... Это была моя бабушка Злата Семеновна! Видно, Соломон приставил на «хлебное» место своего человечка.

Выходящее начальство народ встречал хлопками. Кто-то даже закричал «Ура!». Гармонист заиграл марш. И Соломон затопал своей деревяшкой впереди всех, повел в «Чайную» отмечать праздник.

А мы стали в общую очередь. На входе стояла баба Злата с рулончиком трамвайных билетов на груди. В обмен на гривенник она отрывала билетик и выдавала каждому лоскуток газеты.

Уборная была сама простая. Приступочка с «очками» над ямой. Пахло здесь пока что свежим деревом и еловой смолой. Интересно, надолго ли эта чистота?

Мы решили придти сюда завтра. Но назавтра Соломон запряг нас с Ленькой в работу. Он заставил караулить ящики с водкой. Где он ее доставал? Ленька сказал, что в комиссионном магазине. Она продавалась там без карточек, но по диким ценам. А на базаре водка, видать, стоила еще дороже. А то стал бы Соломон заниматься этим гешефтом!

Целый день мы с Ленькой караулили чертовы ящики. Приходили какие-то люди, перекладывали бутылки в закрытые сумки и исчезали на «толкучке». А я сидел и дрожал. Каждую минуту могла появиться милиция.

Но все обошлось. В конце дня Соломон выдал нам нашу «зарплату»: по хорошему куску черного хлеба с американской тушенкой. Белый жир таял во рту, сладкие волокна не хотели утекать с языка. Вкуснотища! — Амехаим! — как сказала бы баба Злата. Ленька аж урчал от удовольствия. Вот уж он был доволен — ему лишь бы в школу не ходить. — А я там и так все знаю! — говорил этот опытный второгодник. Ему было двенадцать лет, а он все еще сидел в третьем классе. — Ломоносов! — звал его Соломон.

Как мы могли уйти с рынка, не навестив новую уборную? Очереди у нее не было. Но пролом в ограде был заделан, и народ, хочешь, не хочешь, должен был отдавать свои гривенники нашей бабке. С нас она денег не взяла, но и газеткой не отоварила. Да мы ничего серьезного делать и не собирались.

В сортире все еще пахло свежим деревом. Но стены были уже кое-где расписаны и разрисованы. Леньке понравились стихи, нацарапанные чернильным карандашом.

— Сижу на краю унитаза

Как горный орел на вершине Кавказа! — твердил он, пока не выучил наизусть.

— Ком а гер! — позвала нас баба Злата. В смысле «идите сюда!». И придумала для нас работу: резать старые газеты на ровные лоскутки. Ленька ворчал, а мне нравилось. Я старался, чтобы каждый лоскуток был с картинкой. Пусть человек посмотрит что-нибудь интересное, пока сидит горным орлом.

На следующий день Соломон вдруг оторвал меня от дежурства. — Сходи, — говорит, — к бабке! Поможешь там по хозяйству!

Запах «хозяйства» чувствовался уже на подходе. И пахло не свежими досками. Да и как не пахнуть: бабка продавала больше билетиков, чем было посадочных мест. Вот люди и делали свои дела мимо «очков».

— Чтоб оно все гешволт было! — проклинала бабка Злата неизвестно кого, размахивая вонючей шваброй. Но гривенники в ее кондукторской сумке звенели.

Я, как и вчера, занялся газетами. На всякий случай я шарил глазами по страницам: нет ли там чего-нибудь про войну. На картинках были подбитые немецкие танки, наши отважные снайперы и бородатые партизаны. И еще много фотографий парада на Красной площади. И лица вождей на Мавзолее. Я старался вырезать их аккуратнее, чтобы, не дай бог, не оставить кого-нибудь без уха...

— Фартиг! — сказала баба Злата. — Готово!

В том смысле, что газетный запас уже выше крыши, и я могу отправляться к Соломону.

— Как народ? — спросил Соломон.

— Ходит, — честно ответил я. — И в толчки, и мимо.

Мама сегодня пришла пораньше. Она сидела на крыльце и трясла бутылку с молоком. Взбивала масло. Молоко у нашей Любки было жирное. Ну, не у нашей, конечно. Корова была хозяйская, тети Катина. Иногда мама покупала у нее немного молока и сбивала из него масло. А по карточкам вместо масла давали комбизир, да и то не каждый месяц.

— Ну-ка, поболтай немножко, а то у меня руки скоро отвалятся!

Я взял у мамы бутылку и, придерживая пробку, начал изо всех сил трясти ее, так что крыльцо заходило ходуном.

— Стой! — остановила меня мама. — Ты же не маслобойка!

Она сняла очки, забрызганные молоком, и запела свою любимую:

— *А у перепелки сердечко болит,
Ты ж моя, ты ж моя перепелочка!
Ты ж моя, ты ж моя горемычная!*

Я всегда готов был подпеть, не заботясь о чужих ушах:

— *А у перепелки лапки болят,
Ты ж моя, ты ж моя перепелочка!
Ты ж моя, ты ж моя горемычная!*

Я тряс бутылку и тряс. И видел, как в молоке появляются первые жиринки, как они слипаются в круглые шарики.

— Масло! — показал я маме.

Мама была из Белоруссии. Она часто вспоминала свою деревню Ивашкевичи, которую почему-то называла местечком. А в школу она бегала в другое местечко — Ко-

поткевичи. «До самой зимы босиком! — вспоминала мама. — Детей было много, а папа, твой дедушка, умер рано, бабушка крутилась одна, где ж на всех обуви напасешься...».

Мама хорошо помнила день, когда учительница вошла в класс и объявила: «Дети, можете идти домой! Сегодня занятий не будет. Умер наш вождь Владимир Ильич Ленин!».

Каждый раз, когда мама рассказывала про это, я вытягивался в струнку и громко декламировал:

Камень на камень, кирпич на кирпич,
Умер наш Ленин Владимир Ильич!

А Ленька, если ему случалось быть рядом, тоже вытягивался, отдавал честь и пел своим гнусавым голосом: — Умер наш дядя, как жалко нам его!.. А тетка Рейзл, если слышала это, кричала громким шепотом: — Швайгт! Молчите! Загremеть захотели!..

— Хотим! — отвечали мы с Ленькой и принимались греметь всем, что было под рукой...

Мама замолчала и стала вытряхивать из бутылки кусочки масла. Их было совсем чуть-чуть, и все они были облеплены капельками воды. А из оставшегося молока мама собиралась сварить ячневую кашу и заправить ее этим маслом. А то все картошка и картошка!..

— Вот подожди! — сказала мама. — Отдаст папа долг за этот... «очаг культуры»... начнут бабушкины гривенники и на нас капать. Тогда настоящего масла купим. А, может, и на пропуск соберем...

Это была мамина мечта — пропуск в Москву... Его можно было получить по вызову. Или купить. Без денег выдавали пропуски ученым, инженерам, артистам...

— Придется тебе поработать сегодня вместо бабушки! — сказала мама через пару дней.

— Что?

— Что! Что!.. Что ты так боишься любой работы!.. Туалет не может стоять без дела. Людям же надо!.. Или ты хочешь, чтобы папа никогда не отдал долг, и мы не вернулись в Москву?

— Фу! — Я даже перестал жевать. — Там же задохнуться можно! И кто будет убирать?

— Бабушка не на всю жизнь ушла!

Дали мне бабкину сумку, билетный рулон. И пошел я, а мама кричала вслед: — Не шаркай ногами! Это еще не конец света!

А я ничего, справлялся. Брал гривенник, отрывал билетик, выдавал клочок газеты. Иногда вежливо покашливал, если человек примерзал к толчке. Очередь же не могла ждать.

Все шло хорошо, пока не появился Мордан. Я его сразу заметил и так про себя и прозвал. Лицо у него было шире одного места. И он сразу прихватил несколько лоскутков. Прошел внутрь, а там, смотрю, никаких дел не делает, а газетные картинки разглядывает. Потом зачем-то в «очко» заглянул. А потом вдруг рванул ко мне, выхватил всю стопку газетных лоскутков.

— Кто хозяин туалета? — спрашивает.

— Со...Со...Соломон...

Тут как раз и сам он вынырнул. На своей деревяшке и со своей медалью на груди. — У вас какие-то трудности? — спрашивает у Мордана.

— Трудности будут у тебя! — отвечает тот. Злобно так. — Знаешь, что полагается за такую антисоветчину!

И сует ему мои газетные лоскутки. Я, конечно, голову тяну, чего там такого не советского? А там картинки, фото с Мавзолея. Наши вожди, И все так аккуратно вырезаны, ни одного уха не задето. Я же старался.

— Вот кого здесь на подтирку пускают!.. Знаешь, на что это надругательство тянет?

Соломон сначала покраснел, потом побелел, потом на меня налетел:

— Твоя работа?

— Моя...

— Кто тебя подучил?

— Никто... Такие листки с самого начала были... Как открывали, так они уже были... И все ими ...пользовались. И гражданские, и военные...

Соломон крепко задумался. И заговорил как бы про себя:

— Ну да... На открытии было руководство города, и партийное и советское...

Он уже без всякого страха взял Мордана под руку.

— И ваши товарищи... принимали участие.

И снова оборотился ко мне:

— Так, говоришь, все такими листками пользовались?

— Потеряли бдительность... — злобно пробормотал Мордан. Но Соломон уже тащил его прочь.

— Ваша правда, товарищ капитан! На сто процентов!.. Но давайте обговорим это не на ходу!.. И с народом надо посоветоваться! Нужен ли городу лишний шум...

Мордан вырвал руку и топнул ногой:

— И чтобы это ...сооружение... сей же день!.. Как будто его никогда и не было!

— Закрыто! Закрыто! — говорил я теперь всем желающим. А кто-то, кому приспичило, уже проламывал дыру в заборе.

АЛЯ-УЛЮ!

За кладбищем жили цыгане. Они были «цирковыми». Приехали в город вместе со знаменитым дрессировщиком Дуровым. Были каникулы, и мы с Ленькой ошивались в центре. Как вдруг загудели трубы, и прямо по площади Ленина понеслись вприпрыжку веселые акробаты. Они крутились колесом, играли в чехарду, подбрасывали друг друга. Ну, прямо выше крыш! А за ними бежали жонглеры, и над их головами летали шары и тарелки. И ни одна не разбилась!

Вот это да! Я такого никогда не видел! Музыканты трубили. Барабан бил. Дети визжали. Ленька хлопал в ладоши. Тарарам! И посреди этого тарарама спокойнее всех выступал слон. Огромный! Толстопузый! Спина его была покрыта ковром, а на боку висела афиша:

*«Цирк зверей! Знаменитая династия Дуровых!
Феерическое представление «Гитлер капут!»
с участием дрессированных животных!»*

Сам Дуров ехал в тележке, похожей на катафалк с нашего кладбища. Он сидел в кресле и важно кланялся то в одну, то в другую сторону. А рядом с ним скакали цыгане. Скакали не то слово. Им не сиделось на месте. Они то спрыгивали на землю и бежали рядом, то ловко вскакивали обратно. И вместе с ними девчонка. Ну не старше меня. Но вся такая рыжая и в веснушках. И отчаянная какая-то. Вдруг вскочила и давай крутиться на одной ноге. Прямо на спине лошади! Я бы так не смог!

— В-в-во дает! — Ленька аж заикаться стал. — С-с-слабо тебе так?

— А тебе?.. — Что я еще мог сказать.

Цыгане поселились за кладбищем. Каждое утро они проходили под нашими окнами. Женщины в пестрых платьях тащили на руках чумазных малышей, дети постарше цеплялись за их юбки. Старухи визгливо покрикивали на подростков...

А следом за ними молодые мужчины выводили коней. Сразу за воротами кладбища, они вскакивали в седла и с лихим свистом уносились по улице.

Вечером табор возвращался мимо нашего дома. Женщины тащились, еле волоча ноги, с узлами и кошелками, набитыми старьем. — Артис-сты!.. — шипела им вслед тетка Рейзл.

Как-то раз мы с Ленькой выгуливали корову. Любка мирно щипала траву у ограды кладбища. И надо же — Леньке вздумалось прокатиться на ней. Как цирковому цыгану. Это он хотел показать, что ему не слабо. Ленька сначала протянул мне веревку: — Д-держи!.. Потом погладил корову по шее. Раз, другой. Потом как подпрыгнет — и шлеп животом на Любкину спину! Корова удивленно оглянулась и одним махом стряхнула Леньку с себя. Хорошо, что Ленька упал в опилки — это все было рядом с лесопилкой, где пилили доски на гробы.

Ленька отряхнулся и снова принялся гладить Любку. — К-к-коровка, не д-дури! — уговаривал он ее. Потом показал мне на обрубок бревна: — П-п-притащи!.. Я притащил — мне-то что. С бревна у Леньки получилось лучше. Он таки взобрался на Любкину спину. Ей это как-то сразу не понравилось: — Дурак, что ли?.. И она прыгнула на целый шаг в сторону. А Ленька полетел в другую. И вдруг мы услышали знакомое скрипучее пение:

— *По марам, по волнам,*
Нынче здесь, завтра там...

Смотрю, к лесопилке шкандыбает на своей деревяшке Соломон. — Ешиботники! — орал он. — Вам что — больше заняться нечем? Так побейтесь головой о стенку!

— Да мы... так... просто... — промямлил я. И вдруг выпалил: — Он хочет, как в цирке!

— В цирке?.. — задумался Соломон. — На корове?.. И задумчиво так заскрипел:

— *Ты возьми меня, марак с собою,*
Что ты скажешь мне в ответ?..

На следующий день Ленька снова пробовал оседлать Любку. И она снова одним прыжком сбросила его на опилки. А тут как раз явился Соломон. А с ним — человек на лошади. В красной рубашке. И с волосами, как черная шапка на голове. Цыган.

Ленька поднялся и сделал новую попытку. На этот раз корова сбросила его только с третьего прыжка.

— Да это просто готовый номер! — обрадовался цыган. — Танцующая корова! Мировой аттракцион!

Он ловко соскочил с лошади и предложил Леньке: — Давай-ка еще разок! На бис!

— Ну, нет! — не согласился Ленька. — Мать увидит, семь шкур спустит!

— И с меня тоже! — добавил я. — Вы тетю Катю не знаете!

Цыган подошел к Любке и ласково провел рукой по коровьей шее. — Строгая, значит, дама? Ну, ну...

И вдруг наклонился к самому Любкиному уху и громко так сказал: — Аля-улю!.. И корова, представьте себе, ни с того, ни с сего подпрыгнула всеми четырьмя ногами! И правда, цирк!

— Как звать? — повернулся цыган к нам. — Л-л-любка! — прокричали мы в один голос. — А матушку вашу?

— К-к-к... — начал заикаться Ленька. — Тетя Катя! — подсказал я. — К-к-катерина Исаковна! — объяснил цыгану Соломон.

— Ну, чтоб цыган с женщиной не договорился! С Исаковной!.. — Он вскочил в седло и поскакал через кладбище. Домой. И весело так запел

— Ой, мама, мама, мама!

Спешу сказать скорее:

Любила я цыгана,

Теперь люблю еврея...

На другой день цыган снова появился у ворот кладбища. Вместе с ним прискакала рыжая девчонка. Та самая, которая так лихо кружилась в цирковом параде. Цыган называл ее Соней. А она его — Ефремом. Ефрем щелкнул кнутом, а Соня забила в бубен. — Аля-улю! — как в прошлый раз закричал цыган. Но Любка даже ухом не повела. — Кто ж задарма работает! — сказал Соломон. И Ефрем достал из кармана бутылочку с чем-то желтым. — Цыганский бальзам! — объяснил он. Мы с Ленькой не успели испугаться за Любку, как он уже поил ее своим бальзамом. А ей, видно нравилось. Она аж причмокивала. А потом начала перебирать ногами. Сначала на месте. А когда Ефрем щелкнул кнутом и закричал свое «Аля-улю!», корова прыгнула вперед. Потом в сторону. И еще вперед. Раз, другой, третий. Она, может, побежала бы и дальше, но Ефрем крепко держал веревку, обвязанную вокруг ее шеи. Вот Любка и скакала по кругу. А Ефрем щелкал кнутом и весело пел:

— Ой, мама, мама, мама!

Скажу тебе я прямо:

Любила раньше Яна,

Теперь люблю я Зяму.

Дались ему эти евреи...

Потом Соломон долго о чем-то шептался с Ефремом. И Ефрем снова поил Любку из желтой бутылочки. И корова скакала на всех четырех ногах. — Во! — радовался цыган. — Хоть сейчас в цирк! Мы с этой коровой мировой номер сделаем!

А Соломон только довольно лыбился. И припевал свое:

— По марам, по волнам...

А Ленька с перепугу заикался сильнее, чем всегда:

— Н-н-ну в-в-все! М-м-молоко т-т-теперь бу-бу-будет цы-цы-цыганское!

И правда. Тетя Катя, подоив корову, удивилась желтому цвету молока и пристала к Леньке:

— Она что у вас акацию жевала?.. Так вы за ней смотрели? Капцонес!.. Сколько раз говорила этим мишигастам, — она показала на нас с Ленькой, — не водите корову на кладбище!

— А куда же было ее водить? — не выдержал я. — На завод что ли?

— Ты еще будешь мне хамить!

— Но, правда, Катя! — заступилась мама. — Нигде, кроме кладбища, травы нет...

— Поискали, нашлась бы!.. Что мне теперь с этим молоком делать?

— Масло сбить! — быстро подсказал я.

— Ага!.. Чтоб потом полбазара за мной бегала!.. Нате, травитесь сами!

Она поставила бидон на стол и ушла к себе... Баба Злата, кряхтя, сползла с кровати, где она уже устроилась на ночь, и заглянула в бидон.

— Шо це воно?.. Справди, жовтий... — Она окунула в молоко палец, облизнула его.

— А шо? А гуте милх! — Бабушка зачерпнула кружку и с удовольствием выпила.

— Амехаим! — засияла бабушка своими двумя зубами.

— А мы что — рыжие! — двоюродные Жанна и Вера тоже похватили кружки. И тетя Фрима налила себе.

А мама протянула по стакану мне и папе. Даже тетка Рейзл, как всегда что-то ворча, приложилась к молоку.

...Я спал, и мне снилась бомбежка... Мы лежали в поле, в каких-то воронках. В небе гудели самолеты, что-то сверкало, что-то ухало совсем рядом. А Мишка надрылся ревом. И люди вокруг кричали, что немцы там, наверху, слышат этот крик, у них такие аппараты есть! И что его белое одеяльце с неба видно. И прямо стаскивали с брата это несчастное одеяло... Потом засвистел паровоз, и людикинулись к вагонам, и мама тащила меня и Мишку. А про одеяло забыла...

— А одеялко-то было чисто пуховое! Так жалко, так жалко!..

Оказывается, мне снилось то, что мама рассказывала. Только голос у нее почему-то был веселый. И таким же веселым голосом заговорила вдруг тетка Рейзл:

— Хе, смешно!.. Подумаешь, одеяло бросила!.. А сколько их валялось по сторонам, когда все Кунцево по Можайке драпало!.. Подушки... чемоданы... коляски... Как услышали, что немец уже в Химках!.. Хе-хе! Все бебехи побросали!.. Абы токо до теплушек дорваться!..

...Я снова спал и видел, как люди несутся по платформе, отталкивая друг друга, теряя детей, впихивая узлы в товарные вагоны, я сам когда-то был задавлен такой толпой в метро, когда бомба попала в станцию «Киевская»... Да... Все бегут... И только одна тетка Рейзл выступает, не торопясь, брезгливо сторонясь потерявших голову людей. Одной рукой она держит раскрытый зонтик, другой бережно несет портфель. Большой кожаный портфель с двумя замками... Я давно на него зырился...

— Зейст! Лехелте!.. Смеетесь! — сказала тетя Фрима. — А как мы семь суток с покойником ехали!.. Хо-хо-хо!.. Сначала-то он почти живой был, дочь его на верхнюю нару запихнула, да привязала, а то он все метался... «Гу-гу-гу!» говорил. А на четвертую ночь захрипел... Это уже в Сибири было... А с утра затих... Вся его мешпуха, зараза, неделю молчала... хотела до Челябинска довести... они там собирались сходить... А потом такой вонь пошел... ой, не могу!.. Все спрашивают, может ктой обосрался... пусть скажет... А чего он уже може казать? Он уже усе казал... Прохфессор, говорят, был... А осталось одно «гу-гу»... Умора...

Но никто уже не смеялся.

— Попили молочка! — сказала мама. А я вспомнил:

— Да это же цыган нашу Любку чем-то поил! Так она у него потом плясала!

— Пропала корова! — жаловалась тетя Катя. Молоко и на другой день было желтым. Продавать его хозяйка боялась. И выливать было жалко. Так что она не долго торговалась, когда Соломон привел Ефрема, и тот стал расписывать, какие доходы ее ждут, если она одолжит корову цирку. — Мадам, вам такие парнусы и не снились! — уговаривал ее Соломон.

Помогло и Сонино гаданье. Она прочла по хозяйкиной руке, что муж ее, Рувим, служит где-то в обозе и на фронте бывает не каждый день. А сын Абраша, хоть и ранен, но зато скоро будет дома. И насовсем.

Тетя Катя поплакала, поплакала, вспомнила про желтое молоко да про деньги, которые ей будут платить... И в один прекрасный день мы с Ленькой повели Любку в цирк. Впереди, конечно, подпрыгивал на своей деревяшке Соломон. А за нами увязались сестренки Жанна с Верой и их подружка Шурка, дяди Васиной дочь, и еще всякая цыганская мелкота. Было весело, потому что иногда наша корова начинала приплясывать. Встречные машины гудели, трамваи звенели. И даже учебный самолет сделал круг над нашей компанией. Видно, летчик никогда не видел пляшущую корову... Но то ли он засмотрелся, то ли мотор заглох, только самолет вдруг наклонился на одно крыло... опустил нос... и воткнулся им прямо в крышу... Только хвост торчал... Хорошо еще, что в этом доме жил врач.

Через пару дней по всему городу расклеили афиши:

СКОРО!!! СКОРО!!!

В ПОМОЩЬ ФРОНТУ!

ФЕЕРИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«ГИТЛЕР КАПУТ!»

НОВЫЙ КОННЫЙ АТТРАКЦИОН

«ЦЫГАНСКАЯ РАПСОДИЯ»

И ДРУГИЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ НОМЕРА

Вход в цирк и зверинец по одному билету

Мы с Ленькой ходили в зверинец без всякого билета. Соломон договорился, что мы будем убирать за Любкой. Вы думаете, это была приятная работенка? Надо было заталкивать в ведро коровьи лепешки, а потом скрести пол до блеска, чтобы тетя Катя могла в чистоте доить свою корову. Только Соломон и тут придумал, как сделать из этого дела гешефт. — Это же удобрение! — сказал он. — Золотое дно!..

А потом задумчиво посмотрел на слона. — Да мы с вами Пурицами станем!..

Я не знал, кто такой Пуриц. Но как пахнут «удобрения», знаю с тех пор не понаслышке.

Ведра были просто неподъемными. Да еще народ возвращался с работы. Мы еле втиснулись в трамвай. И хотя навоз мы плотно закрыли кусками брезента, да еще сели на ведра, пассажиры сразу почуяли неладное.

— Это кто ж так обделался! — недовольно загалдели они.

— И не стыдно с полными штанами в трамвай! — возмущались женщины.

Площадка сразу опустела. Но, видно, и в вагоне стало нечем дышать.

— Кондуктор! — вопили пассажиры! — Что ж ты всех засранцев в вагон пускаешь!

— Фу! — загундосила кондукторша, протиснувшись на площадку и зажимая нос. Она сразу догадалась, в чем дело.

— Эй, вы! — закричала она. — Что там под вами?.. Ну-ка марш из вагона! Кыш, кому говорю!

Кондукторша бешено задергала веревку над головой, впереди у водителя что-то затренькало, и трамвай остановился.

— Чтоб духу вашего не было! — выталкивала нас кондукторша. — Щас милицию позову!..

Мы вытащили наши ведра на мостовую. Следом за нами из трамвая валил народ.

— Ой! Ай! — причитали люди. — Умереть же можно!

А кто-то бдительный предлагал:

— И, правда! Сдать бы этих провокаторов куда надо!

Мы с трудом уносили ноги. А над улицей гремел голос кондукторши:

— И все выходите! Все вон!.. Вагон идет в парк на дезинфекцию!

Когда мы дотащились до Партизанской, ноги были, как ватные, руки просто отрывались.

Слава богу, у первых же ворот на лавочке курили два старичка.

— Дедушки, навоз не нужен? — вежливо спросил я.

— Какой навоз! — заволновались старички, зажимая носы. — Ну-ка, брысь отселе, пока ноги не повыдергали!..

Пропустив пару дворов, я набрался храбрости и постучал в ворота. На стук вышла молодая хозяйка.

— Навоз... — только и успел сказать я. Женщина побледнела, зажала рот рукой и быстро-быстро затопала куда-то вглубь своего двора...

Напротив наших ворот возились в песке два казахчонка.

— Сирик! Серал!- окликнул я их — Позовите дедушку!

— Ата!.. Ата! — закричали они в калитку. На зов вышел седой ата в толстом халате и тюбетейке. Ни о чем не спрашивая и не морщась от запаха, он приоткрыл ведро и зацыкал:

— Це... це... це... Чья навоза?

— Э... э... — замешкался я. — Коровы... и слона... слоновий...

— Где брала?

— В цирке, — честно признался я.

— Це... це... це... — Ата окунул палец в ведро, понюхал его и вытер о брезент.

— Цево хочешь?

Я понятия не имел... Сколько может стоять ведро навоза?.. На всякий случай я подчеркнул:

— Слоновий!..

— Це... це... це... — Хитро улыбаясь, дедушка полез в глубину своего халата и вытащил оттуда бумажку с шахтером...

— Рубль?.. — кисло посмотрел я на Леньку. Он подхватил ведра и затопал к нашим воротам.

Дедушка засеменил за ним.

— Три рубль! — объявил он, шаря в халате.

— Пять! — не оборачиваясь, заявил Ленька.

Дедушка отдал мне деньги и что-то приказал внукам. Сирик и Серал бойко подскочили к ведрам. Сначала каждый попробовал приподнять по ведру... Потом вдвоем схватились за одно... И виновато залопотали, не сумев даже оторвать его от земли...

— Апа! — позвал дедушка в калитку. Из нее выскочила худенькая старушка в плюшевом платье. Быстро-быстро оглядев всех, она без усилий подняла ведра и шустро утащила их к себе.

— Ведра утром верните! — попросил я дедушку напоследок.

Это было только начало нашего подвига по удобрению Партизанской улицы.

Один бог знает, сколько ведер перетаскали мы на ее огороды. (Мои дочери, вернувшись из командировки в Омск, говорят, что крепкий запах зверинца сохранялся там и шестьдесят лет спустя).

Выступление цыган назначили на последний день августа. Было приглашено все городское начальство с семьями. Ефрем позвал тетю Катю, а заодно и всю нашу семью.

Тетка Рейзл, прихорашиваясь перед зеркалом, ворчала:

— Цирк-шмырк!.. За день такого цирка насмотришься! И каждый второй — идиот! Никаких клоунов не надо!..

А все-таки она надела свою черную шляпку с красными вишенками, достала нарядный платок для бабы Златы и подстригла Сюню. В папином пиджаке он выглядел почти нормальным. Совсем, как папа... В трамвае они ехали на разных площадках. Пассажиров, проходящих через вагон, это сбивало с толку. Как это человек ухитряется быть сразу в двух местах. Уж больно они были похожи.

В цирк мы приехали рано. И я повел всех в зверинец...

Тетя Катя, конечно, сразу кинулась к Любке.

— Кормилица моя! Мне ее сегодня и подоить не дали!..

— Мадам! — успокаивал ее Соломон. — Чтоб я так жил, как вашей корове хорошо здесь! Она имеет бешеный успех!.. Ну и вы с нее имеете кое-что, а не семечки!..

Мама прижала Соломона к клетке с обезьянами.

— Соломон, — напомнила она, — вы держите в голове, что завтра ребенок идет в школу?

— Мадам, все учтено! Ваш байстрючонок... пардон, вундеркинд!.. трошки еще поработает по вечерам... А потом будет у меня на легком подхвате. Пусть учится, пока я жив!

— Айн гот веймс, чему он у вас научится!

У ослиного загона тетка Рейзл вспомнила о Сюне.

— А этот цидрейтер? — спросила она у Соломона.

— О, вашему шлимазлу мы тоже подобрали занятие. Как сказано в Торе: «от каждого по способности!»...

Только теперь я заметил, что папа и мой ненормальный дядька куда-то делись.

Цирк был полон. Весь первый ряд занимали важные военные. Кажется, даже генералы. Рядом с ними сидели артисты из эвакуированного московского театра. И было много раненных из госпиталя. Но больше всего было женщин.

Нас посадили на стулья в незанятом проходе. Всех, кроме папы и Сюни. Куда они пропали? Я чуть шею не отвертел, пока вокруг не стало совсем темно.

Вспыхнул свет под куполом. Заиграл оркестр. И начался парад циркачей. Первым выступал главный дрессировщик Дуров. Рядом с ним кланялась и приседала цыганская

девочка Соня.. Потом шли дрессировщики помельче: с медведями, обезьянами, енотом и осликом. Потом провели слона... Забили барабаны, и натягивая цепь, прошел тигр... Проскакали цыгане на своих конях... Пролетели колесом акробаты... И вприпрыжку понеслись крашенные клоуны...

— Тю! — громко сказала баба Злата. — Я же цих рыжих бачила у Александрии! У девятнадцатом роки! Еще до погрома!..

— Тсс, бабуля! — прервал ее Соломон. — Це ж было при царе Горохе! А то ж советский цирк. Лучший в мире!

На арене остался один Юрий Владимирович.

— Уважаемая публика! — объявил он, — Цирк приветствует вас! В это трудное время мы вместе со всей нашей великой родиной боремся с заклятым врагом всего человечества! Наше грозное оружие — смех! Сейчас вы увидите, как беспощадно разит он фашистское отродье!..

Дрессировщик поднял руку, где-то на балконе заиграла шарманка, и Дуров запел громким басом:

— *Мальбрук в поход собрался;*

В походе он... мирондо-мирондо-миранделе...

Все поняли и захлопали в ладоши.

И началось представление... Мама-коза провожала на русский фронт юного Фрица — ослика в немецкой каске... Обезьяна-Геббельс лопотала что-то в микрофон... Ослик-Фриц браво маршировал по арене... На пути он встречал пастуха с коровой... Конечно, это были Ефрем и наша Любка... «Млеко! Млеко!» — кричал Дуров... Ослик-Фриц кидался к Любке, но она шустро отпрыгивала в стороны... Туда-сюда... туда-сюда...

А тут появлялись медведи в мохнатых ушанках — партизаны... Начинаясь пальба... Ослик-Фриц с перепугу валился на спину и задирал вверх все четыре ноги... медведи водили хоровод... Смешнее всех плясала наша Люба... Тетя Катя утирала слезы, глядя на нее... А люди-артисты тоже плясали и припевали:

— *Тут и там — Гитлера там-там!*

Там и тут — Гитлеру капут!..

Публика была в восторге. Даже главный генерал вытирал глаза от смеха. Я хлопал громче всех. А папы с Сюней все не было.

В перерыве Соломон угощал всю нашу мешпуху суфле. Это было такое растаявшее мороженое в алюминиевой мисочке. До войны я бы к нему не притронулся — вкус у него был, как у скисшего молока. Но теперь даже мисочку вылизал. И все удивлялся, с чего это Соломон так раздобрился?

А потом пришла очередь цыган. Вот это была картинка! По арене скакали кони... Поводья были брошены... И всадники летели, стоя, круг за кругом... то мелькая яркими нарядами в круге света... то пропадая в сплошной черноте... А в центре арены крутился Ефрем. Он щелкал длинным кнутом, рассекал им воздух, и звук щелчка, резкий, как выстрел, заставлял коней скакать и скакать...

Потом он опустил кнут. Кони пошли медленнее... И вдруг на арене появилась маленькая лошадка, пони, а ней — пирамида из пяти крошечных цыганят! Лошадка побежала по кругу вслед за большими конями... Ефрем щелкнул кнутом, пирамида распалась, несколько секунд цыганята бежали рядом с пони... Ефрем снова щелкнул, ребятя по очереди запрыгнула на лошадку... Только один, самый маленький, не успел.

Он бежал, отставая все сильнее... Потом остановился и горько заплакал, размазывая слезы по лицу...

— Ай, нехорошо, чаворо! — пристыдил его Ефрем.

— Bravo! Bravo! — не соглашались с ним люди. И не жалели ладоней. Я не отставал от других, хоть и подозревал, что с пацаном так и было придумано.

Думаете, это было все? Я тоже так думал. Пока на середину не вышел знаменитый дрессировщик Дуров и не объявил:

— А сейчас мировой номер — иллюзионист и гипнотизер Сигизмунд Колосовский!

Трюки с исчезновением и таинственным перемещением! Женщин и детей просим не волноваться!

А мы и не волновались. Тетка Рейзл даже сказала — как припечатала:

— Видела я эти трюки-шмуки в Запорожье!.. Фокусник заховал живого кассира в комод... Так он таки и пропал... Вместе с дневной выручкой... Директору цирка дали три года!

И вот началось. Забили барабаны, загудела труба. Погас почти весь свет. И в ту же минуту в самом центре арены вспыхнул огонь и поднялся столб дыма. Когда дым разошелся, на его месте стоял высокий уса́тый человек в белом плаще и в белом шарфе, намотанном на голову...

— Повелитель огня Сигизмунд Колосовский! — объявил громкий голос.

Помощник фокусника выкатил на арену покрытый золотом сундук. Сигизмунд протянул руку, и с его ладони слетел огненный шар. Он ударился о крышку сундука, и та со звоном открылась. Кряхтя и сопя, из сундука вылезла ...наша корова Любка!

— Вей! — закричала на весь цирк тетя Катя. — Лопни мои глаза!.. Зачем я дожидалась, чтобы видеть это!

Но дирижер взмахнул палочкой, оркестр заиграл плясовую, фокусник скомандовал: — Аля-улю!.. и корова запрыгала по арене, перебирая всеми четырьмя ногами.

— Хай как серебром теперь, а не молоко от этой балерины! — хлюпала бедная тетя Катя.

А публика ревела от восторга!

Фокусник поклонился, приложив руку к сердцу. Потом разогнул ее, и в сундук ударился новый огненный шар. На этот раз из сундука появилась рыжая Сонька... верхом на пони! Снова заиграл оркестр, и пони понесла девчонку вокруг манежа.

Фокусник снова раскланялся и снова метнул в сундук кусок огня. Только теперь из сундука никто не вылез. Сигизмунд развел руками, словно извиняясь перед публикой... Но потом вдруг вытащил из кармана своего плаща тонкую длинную дудочку и заиграл что-то очень заунывное. И из сундука, покачиваясь под музыку, поползла самая настоящая змея! Кобра!.. Дудочка умолкла, слышалось только змеиное шипение. Тогда фокусник послал в змею свой волшебный огонь. Над сундуком поднялся столб дыма, и кобра превратилась в ...толстый канат!

Заиграла, запела дудочка, и канат пополз вверх... Честное слово, он поднимался сам собой, не было видно ничего, чтобы его тянуло! Когда он остановился, на арену выскочила Сонька и ловко вскарабкалась по канату под самый купол. Сигизмунд метнул ей четыре горящих факела, крикнул: «Ап!», и рыжая девчонка принялась жонглировать ими так, что летающие огни превратились в горящий круг!..

Вот это было да! Но я не знал, что самое-самое еще впереди... И вот на арену вынесли шатер из черной материи.

— Уважаемая публика! — обратился к зрителям фокусник. — Следующий номер выполняют самые высокие мастера огневой иллюзии!.. Не скрою: номер смертельно опасен! Но не для магистра оккультных наук Сигизмунда Колосовского!.. Слушайте! Слушайте! Для номера нужен доброволец! Самый смелый и отчаянный!.. Но уверяю вас: будет не страшнее, чем на фронте!..

Зрители притихли. Никто не рвался на фронт...

— Ну же, товарищи! — еще раз воззвал фокусник. — Решайтесь! Дерзайте!.. Сигизмунд Колосовский отвечает за вашу безопасность!..

— Есть? Есть желающий?.. Пожалуйста сюда, смелый человек!

Откуда-то с верхних рядов спускался человек с двумя чемоданами в руках.

— Прошу приветствовать храбреца! — обратился к цирку Сигизмунд, и когда аплодисменты стихли, попросил:

— Представьтесь, пожалуйста!

— Мы здесь проездом... С поезда на поезд... — объяснил человек не то папиным, не то сиюним голосом. — В цирке мы и не бывали...

— О! Зейст! — зашумела баба Злата. — Чи то Герш? Чи то Сюня?

И правда, это был папа. А, может, и Сюня. Они ведь были на одно лицо. Но что занесло их в «добровольцы»?.. Не иначе, здесь не обошлось без Соломона...

— Есть еще желающие? — спросил Сигизмунд. — Тогда приступим! — торжественно произнес фокусник и дал знак оркестру.

Он по очереди приподнял стенки шатра, чтобы все убедились, что внутри ничего нет. Потом жестом пригласил «добровольца» в шатер. И тот вошел вместе с чемоданами. Помощники Сигизмунда прикрепили стенки шатра к полу. На арену вышли пожарные со шлангами. Вынесли горящий факел и пригасили свет...

— Внимание! — объявил фокусник. — Наступает момент истины!

— Герш! — на весь цирк запричитала мама. — Ты подумал о детях!

Под дробь барабана Сигизмунд поджег шатер со всех четырех сторон. Легкая ткань запылала, как сухая трава.

— Мишигасте! — громче мамы взревела тетка Рейзл. — Куда тебя понесло!

В публике раздался женский визг. Но от шатра уже оставались одни железные стойки. И больше ничего и никого!

— Прошу прощения! Кажется, я перестарался! — сказал Сигизмунд фальшивым голосом.

Рыдающая мама пулей выскочила на арену. За ней, размахивая зонтиком, неслась тетка Рейзл.

— Где этот говнюк! — кричала она.

За ними плелась баба Злата. И, конечно я, с криком:

— Где мой папа?..

Жанна и Вера бежали следом за мной и вопили, что есть мочи:

— Дядя Гриша! Дядя Сюня! Отдайте дядей!

Зрители немного расслабились. Они решили, что все это часть представления. Зато фокусника распирало от злости. Он теснил нас своим немаленьким животом и ис-

подтишка грозил кулаком. По-моему, он даже собирался запустить в нас огненным шаром. Но не успел, потому что луч прожектора соскользнул с середины арены и уперся в дверь на самом верху. Она открылась, и по лестнице стал спускаться живой и невредимый «погорелец». Правда, только с одним чемоданом...

— Спасибо! Спасибо! — кланялся на аплодисменты Сигизмунд...

Но когда аплодисменты стихли, стало слышно бормотание «добровольца»:

— Мы здесь проездом... С поезда на поезд... А где же второй чемодан? А?..

— А вы, любезный, загляните в сундучок!.. Что, нет?.. Ну, тогда поставьте туда свой чемоданчик и скажите: «- Иди, первый чемодан за вторым!»...

Папа (или Сюня) так и сделал. Поставил чемодан в сундук, наклонился над ним, тут-то помощники Сигизмунда его и подтолкнули и крышку захлопнули

— И ты за ним! — пошутил фокусник.

— Айн момент! — остановил он волнение на трибунах.

Одним взмахом Сигизмунд набросил на сундук черное покрывало, сказал «Аля-улю!» и запалил его со всех сторон.

— Ай! — пронеслось по рядам. Но покрывало уже исчезло в огне. А вместе с ним и ...сундук!

— Готыню! — рыдала мама.

— Ай! Ой! Ай! — испуганно кричал цирк. И я вместе со всеми.

Но фокусник повелительным жестом указал на дверь в проходе. Луч прожектора скользнул туда, и все увидели спускающегося папу (или Сюню). Целого и невредимого. И с двумя чемоданами!

Весело заиграл оркестр. Вспыхнул свет. Зрители, стоя, аплодировали фокуснику.

И я хлопал громче всех. Еще бы! Мои родные прошли сквозь огонь! И остались живы!.. Правда, я так и не понял, кто из них горел и не сгорал: папа или дядя?

Но вот то, что всю эту историю затеял Соломон, я знал точно.

Все думали, что представление окончено. Но Сигизмунд снова поднял руку.

— В заключение — сеанс моментального гипноза! — объявил он. — Освобождение таинственных сил человеческой психики! Способность видеть будущее! Без карт и религиозной мистики!

Генералы почему-то встали и гуськом потянулись к выходу. Видно, свое будущее они и так знали.

А Сигизмунд снова вызывал добровольцев: — Кто хочет погрузиться в гипнотический сон! Узнать свои скрытые способности! Без риска для здоровья!

И снова желающих что-то не было. Только в нашем проходе слышалось какое-то шевуршение. Вот те на! Соломон выталкивал на манеж упирающегося Сюню.

— Как шнапс тринкен, так ты здоров! — бурчал он. — А как отрабатывать, так у тебя справка!

— Отчепись от него, гановер! — отбивали брата тетки Рейзл и Фрима. Но где ж им было справиться с Соломоном. Даром что инвалид. А бабка Злата только рот разевала, как рыба, принесенная с базара.

— О! Вот и наш подопытный храбрец! — заспешил Сигизмунд на помощь Соломону. Вместе они вытащили моего дядьку под лучи прожекторов.

— Расслабьтесь! — приказал ему фокусник. — Сейчас я дам команду! Мои слова проникнут в ваш мозг! Вы поплывете по волнам времени!

Я видел, как у моего дяди дрожат колени, ноги ходят ходуном. Публика смеялась, люди думали, что все это игра. Они же в цирке! И все ждали, что дальше будет еще смешнее. Но я-то понимал, что у Сюни вот-вот начнется припадок.

— Аля-улю! — приказал Сигизмунд. И Сюня в ту же секунду перестал дрожать.

— Сесть! — велел фокусник. И Сюня послушно опустился в принесенное кресло.

— Вы — Сибирский оракул! — продолжал командовать Сигизмунд. — Вы можете читать чужие судьбы! Что сбудется, что станется, чем сердце успокоится!

— Ну! — обернулся он к публике. — Кто хочет испытать судьбу! Кто хочет узнать, что ждет завтра! И его, и его близких! Смелее, друзья!

Но опять никто не торопился на манеж. — Ну! — нетерпеливо приглашал фокусник. — Ну, вот вы, любезный! — углядел он в нашем проходе Соломона. — Будьте добры к нам! И нечего бояться!

Соломон заковылял на своей деревяшке и остановился напротив дяди. Сюня поднял голову и что-то пробормотал. Мне почудилось: — Ашен порох! Дрей мих нихт а копф!

— Темны слова твои, — сказал Сигизмунд. — Нужен переводчик!

И тут же, как из под земли, выскочила цыганская девочка Соня. «Оракул» что-то еще пробормотал, и Соня «перевела»:

— Ой, темно он говорит! Ой, непонятно! Как будто в тумане все!.. Но видно, видно: ждут тебя, сокол мой, напрасные хлопоты и дальняя дорога.

Сразу было видно, что Соломону это не понравилось. И Соня добавила: — Но потом все будет хорошо.

На кладбище? — спросил Соломон. Расстроенный, он поплелся на место. А с разных сторон понеслись крики:

— И мне погадай!.. И мне!.. И нам!..

Сигизмунд поднял было руку, призывая публику к порядку, но мой ненормальный «оракул» уже встал со своего кресла и неторопливо пошел по самому краю арены. Луч прожектора двигался за ним, высвечивая лица людей в первых рядах. Почти каждый посетитель задавал один и тот же вопрос:

— Как там мой сын (или брат, или муж) на фронте?

Сюня вглядывался в лицо, потом опускал глаза и бормотал два непонятных слова:

— Гуте нахес!

И Соня «переводила»: — Жив-здоров твоя кровиночка! Боевой орел! Вся грудь в медалях! Все пули мимо!

И вдруг дядя остановился напротив совсем молоденькой женщины с ребенком на руках и прошептал что-то неслышное. Но женщина, видно, расслышала и поняла, потому что, когда световой луч уже унес дядю на какое-то расстояние, в темноте за его спиной вдруг раздался истошный вой...

А дядя Сюня все шел по кругу, иногда повторял свои предсказания, иногда опускал голову и шел молча. И тогда в темных рядах вслед за ним возникала еще одна волна воя, от которого волосы на голове вставали дыбом.

Сигизмунд первым понял, что происходит что-то неладное. Он махнул рукой в сторону оркестра, тот заиграл марш, зажгли полный свет, на арену выкатились клоуны. Но было поздно. Цирк выл дурным голосом. Женщины бились в рыданиях. Мужчины тянули волосатые кулаки. А мой дядя вдруг остановился, постоял, постоял и грохнулся в обморок... Вой несся над ночным городом громче фабричного гудка, страшнее любой сирены.

ДЛИННЫЙ-ДЛИННЫЙ ДЕНЬ

Мне кажется, там, на другом берегу, живут нашей памятью. И их время превращается в один длинный-длинный день, каждая минута которого соткана из звучащих в наших головах мгновений-воспоминаний. «Мама»... «Папа»... «Бабушка»... — вспоминаем мы. И тени на другом берегу заряжаются энергией, которая удерживает их на краю вечности. И тут уж не важно — хорошо или плохо то, что было. Главное — что было. И это тот мостик, который связывает нас. И который делает нас семьей. Здесь и сейчас. Там и тогда.

Помню, как погасили верхний свет. И только огонек свечи дрожал от нашего дыхания. И чьи-то пальцы прижимали перевернутое блюдце к большому листу бумаги.

— Наполеон! Ты меня слышишь? — прокуренным шепотом вопрошала секретарша Мэра. — Почему Наполеон? — не смел спросить я. Меня и так терпели здесь только из уважения к маме. Нас с Ленькой загнали в самый дальний угол — подальше от стола. Видеть мы ничего почти не видели, только слушали настойчивый голос секретарши:

— Наполеон! Ответь мне! Ответь!

Мэра знала, чей дух надо вызывать. Надо только, чтобы он захотел нам ответить. Вот она и твердила: — Наполеон! Наполеон!

Мэра, как и мы, была эвакуированной. Она приехала в Омск из Запорожья вместе с большим заводом. Это был очень секретный завод, но весь город знал, что на нем делают самолеты. Мэра работала секретарем у какого-то начальника.

И это она устроила на завод маму. Курьером — ведь никакой специальности у мамы не была. Мама говорила, что Мэра «культурная», но не очень «порядочная». «Муж на фронте, а она...». Что «она», мама не договаривала.

Маме полагалась рабочая карточка и талоны на обед. Она встречала меня у входа в столовую, и мне приходилось заранее слезать с вагонного окна, не висеть на подножке, и переходить улицу, дождавшись, пока она будет совсем свободна.

Наградой за такое примерное поведения была тарелка горячего гуляша с чуть теплыми макаронами и полстакана несладкого киселя. Рассольник, а на первое почти всегда был рассольник, мама съедала сама.

И еще маме разрешали выносить с завода обрезки досок, которыми мы топили ненасытную печку.

У мамы было очень слабое зрение, она носила очки с толстыми стеклами, и врачи запрещали ей таскать тяжести.

— Ты же не хочешь, чтобы я совсем лишилась глаз! А они у меня от этих мешков просто на лоб лезут!.. Я же не каждый день прошу!..

Положим, мне казалось, что почти каждый... Конечно, маму было жаль, но еще жальче было бросать игру или интересную книгу... Не знаю: может, я один такой урод?

Вечером я все-таки выходил ей навстречу. Но, видно, не очень спешил, потому что видел ее всего за два квартала до дома. Она шла, согнувшись под своим грузом, очки у нее запотевали от пота...

— Не очень-то ты торопился, сынок! — переводя дыхание, шептала мама. Я укладывал мешок на плечи. Он был не то, чтобы тяжелый, но громоздкий, и давил на затылок. По сторонам-то и не посмотришь!

Ну, я ведь не об этом. Я вспоминаю, что было тем вечером. Это мама уговорила Мэру устроить у нас «столоверчение». Я в первый раз услышал тогда это трудное слово. А уж, что такое «спиритизм», я и сегодня толком не знаю. Вот я сидел и помалкивал. И слушал, как Мэра вызывает Наполеона. Будто у него других дел нет, как только являться в нашу пропахшую угаром комнату.

Но вот, поди, ж ты! Блюдце под пальцами Мэры вдруг вздрогнуло и поползло по бумажному листу.

— Отвечает! Отвечает! — не своим голосом зашептала Мэра. — Видите, он говорит «Да»!

Предположим, я ничего не видел — с моего места трудно было разглядеть слова, разбросанные по бумажному листу.

Но тут все сразу всполошились, загалдели: — Что? Что он говорит?

— Вус? Вер? — как всегда, не понимала, что происходит, баба Злата.

— Тихо! — оборвала галдеж Мэра. — А то он уйдет!

И подняв глаза к потолку, очень вежливо попросила:

— Наполеон, помоги нам! Скажи, как там наши мужчины? На фронте...

— Спроси! Спроси про моего Борю! — перебила ее моя тетка Фрима. — Почему нет писем?

Хорошо, что меня никто не видел. Потому что я принялся шарить у себя за пазухой и прямо слышал, как там, под рубашкой, шуршит бумажный конверт. Я боялся, что все услышат это шуршание, и думал, зачем я вообще спрятал письмо. Все равно ведь узнают...

А блюдце тем временем ползало по столу, и Мэра читала слова, на которых оно останавливалось.

— «С вами»... «Всегда»... «Жизнь»... Лист со словами Мэра принесла с работы. Видать, дух Наполеона часто приходил к строителям самолетов.

— Слышишь! — сказала Мэра. — Живой твой Борис!

«Ну да! — думал я. — Как же — живой! А письмо тогда о чем?

Мой сумасшедший дядя как будто слышал мои мысли.

— А пусты мансес! — сказал он в тишине. В смысле: треп собачий! За что был моментально выгнан из комнаты.

— Невозможно работать! — пожаловалась Мэра. Ну, заодно выставили и нас с Ленкой. Я даже обрадовался — Наполеон, наверняка, знал о конверте у меня за пазухой. Пусть лучше блюдечко останется на слове «Жизнь». Пока...

На следующее утро было воскресенье. А каждое воскресенье мама отправлялась на вокзал. И брала с собой меня. На вокзал приходили эшелоны из блокадного Ленинграда. Мама надеялась встретить там свою сестру, тетю Рахиль, и ее троих детей, если, конечно, они еще были живы.

Ленинградские эшелоны приходили на самый дальний путь, подальше от людских глаз. Чадающий паровоз медленно втаскивал состав с теплушками. Затихал скрип и визг колес. И тогда становилось слышно молчание. В немых вагонах не видно было никакого движения, как будто они были пустыми. И только через какое-то время они начинали откликаться на монотонное бормотание идущего вдоль поезда санитара:

— Есть покойники?.. Есть покойники?..

Из дверей теплушек выдвигали что-то похожее на сплюснутых кукол с болтающимися руками и ногами. Их складывали на подводы и накрывали брезентом. Из каждого эшелона набирались одна-две телеги...

— Не смотри! — говорила мне мама. Да я и так не смотрел. Я насмотрелся покойников на нашем кладбище. А эти покойники были вообще какие-то неправильные. Вот люди, которые выползали из теплушек, на самом деле выглядели настоящими жмуриками, как называл мертвяков директор кладбища дядя Вася. Все они были сморщенными, белыми, как бумага, и невозможно старыми. Даже дети. И все они брели к столам, где им выдавали миски с едой и по кусочку хлеба. Они не толкались, не требовали добавки. Видно сил совсем не было. И молчали. Только мама бегала от вагона к вагону и звала:

— Рахиль!.. Рахиль!.. Курочкины!.. Анечка!.. Ида!.. Яшенька!..

Никто не отзывался. Никто не останавливался. Потом обязательно появлялись другие эвакуированные. Они тоже искали своих родственников или друзей.

— Шаховские! Есть кто-нибудь из Шаховских?.. Сергеевы! Сергеевы с Литейного!.. Кто знает что-нибудь о Настеньке Шнейдер?..

Никто никого не находил. Часть пассажиров увозили на грузовиках и автобусах. Остальные заползали в свои теплушки. Паровоз гудел, подавал чуть назад и медленно утаскивал состав дальше в Сибирь. Только мама все еще металась по путям, ничего не видя сквозь запотевшие от слез очки. И хрипло выкрикивала:

— Рахиль!.. Рахиль!..

На обратном пути я все время шарил за пазухой — не потерялось ли письмо. Пока мама не шлепнула меня по руке: — Что у тебя там свербит?..

— А, была, не была! — решил я. И достал из-под рубашки письмо.

— Что это? — испугалась мама.

— Вчера принесли...

И я рассказал, как сидел на крылечке и строгал палочку. Возле калитки давно уже топталась почтальонша Зоя. Обычно она влетала во двор пулей, кричала: — Есть кто живой? — бросала в руки треугольник и хлопала калиткой... А тут все не решалась войти...

Что-то мне это не нравилось... Я поднялся и открыл калитку.

— Коганы тут живут? — спросила Зоя, как будто не ходила сюда много-много раз.

— А Фрима Абрамовна?..

— Дома... — ответил я, еще ничего не понимая.

— Вот... Передай ей!.. И скажи маме, чтоб рядом была!

Она быстро-быстро сунула мне в руки мятый треугольник и убежала за калитку

— Почему вчера не отдал? — заливаясь слезами, спросила мама

— Боялся...

Дрожащими руками мама развернула письмо. И зарыдала, зажимая рот

— Готыню!.. За что!.. Вей так из мир!.. Несчастливая Фрима!..

Она плакала до самого дома. И долго стояла у ворот, не решаясь войти во двор.

Я, конечно, остался на улице. Мне хватило и маминых слез. А что будет в доме!..

И точно. Через минуту там раздался просто звериный вой...

— Готыню! — кричала Фрима, стуча зубами о край стакана. — Вей из мир!.. Боренька! Что они с тобой сделали!.. Готыню! Нет больше моего Бори!.. О-о-о!..

Стыдно сказать! Я побежал к лесопилке, где играли мои двоюродные сестры, не только потому, что не мог больше этого слышать. Нет! Я еще любил первым приносить новости...

— Жанна! Вера! — кричал я издали. — Вашего отца убили!

Потом я долго бродил у ворот кладбища. Идти домой мне совсем не хотелось. Через щели в заборе я видел, как по двору метались цветные пятна. И даже сюда, через дорогу, долетали Фримины горестные вопли.

Фриме было двадцать семь лет. С дядей Борисом они прожили лет пять. Я был маленьким, и взрослые иногда говорили при мне то, что понимать мне не полагалось. Я и не понимал... Просто где-то в памяти откладывалось что-то про женщину с улицы Красных Зорь и про какого-то ребенка... И сейчас совсем некстати эти женщина и ре-

бенок каким-то боком примешались к обязательной скорби. Все-таки я был черствым мальчишкой...

Ближе к вечеру мимо прогрохотал катафалк «Прокатиться что ли?» — подумал я и вспрыгнул на запятки. Возчик оглянулся, но ничего не сказал...Провожающих было всего двое: мужчина и женщина. В глубине кладбища их ждал дядя Вася. Втроем они сняли гроб и понесли его по узкой дорожке к боковой ограде. Здесь была вырыта могила. Гроб поставили на край и открыли крышку для прощания. Покойница была накрыта чем-то белым. В скрещенных руках она держала свечку. Мужчина зажег ее, и блики от огонька заплясали на совсем еще молодом лице и на бумажном венчике, который закрывал лоб покойницы.

Тем временем дядя Вася проверял документы. Получалось, что чего-то не хватает. Надо было идти в контору.

— А как же гроб? — забеспокоилась женщина.

— Да малый-то на что? Он и посторожит!

— Правда, мальчик? — обратилась она ко мне. — Побудешь тут? Мы скоро... Я вот даже книжку оставлю... — и она положила синий томик на край открытого гроба...

Конечно, я тут же схватил книгу. «Ги де Мопассан»... «Жизнь»... Роман...

Странное название... Просто «Жизнь»... Вообще?.. Или чья-то?.. Я перевернул заглавную страницу...

«...Жанна уложила чемоданы и подошла к окну; дождь все не прекращался.

Ливень целую ночь стучал по стеклам и крышам. Журчание воды в затопленных канавах наполняло безлюдные улицы, а дома, точно губки, впитывали сырость...

Жанна вчера лишь вышла из монастыря, наконец-то очутилась на воле, стремилась навстречу всем долгожданым радостям жизни, а теперь боялась, что отец не захочет ехать, пока не прояснится, и в сотый раз за это утро вглядывалась в даль...».

Какое мне было дело до девушки, вышедшей из монастыря... до ее ожиданий... до всей ее жизни, которая вот уж ни капельки не походила на мою?..

Или что общего было у ее отца с моим?..

«...Барон Симон-Жак Ле Пертюи де Во был аристократ прошлого столетия, человек чудаковатый и добрый. Восторженный последователь Жан-Жака Руссо, он питал любовную нежность к природе, к полям, лесам, животным...»

Мой отец был завмагом. До войны он работал на Иголке в полуподвале, заставленном бочками с икрой, заваленном мешками с мукой и крупами. Он был стаханов-

цем, и над диваном у нас висела его фотография, снятая для Доски почета... Когда начались бомбежки, он отправил нас с мамой в эвакуацию... Потом его забрали на фронт, но вернули из-под Смоленска, потому что у него вылезла громадная грыжа... Он бежал из Москвы в день знаменитой паники, и здесь, в Сибири, его призвали снова и отправили служить на какой-то военный склад... По выходным он помогал Соломону в его гешефт-махерах... Ох, боялась мама, втянет его Соломон в историю!..

«...Будучи теоретиком, он задумал целый план воспитания своей дочери, желая сделать ее счастливой, доброй, прямодушной и любящей...»

Я читал, и снова, как всегда, попадал под власть знакомых и незнакомых слов, они оплетали меня паутиной вымысла, так что я переставал понимать разницу между жизнью на страницах книги и моей... мир становился больше и ближе... а люди еще непонятней и интересней...

«...Жанне казалось, что сердце ее ширится, наполняется шепотом, как эта ясная ночь, и внезапно оживляется сонмом залетных желаний, подобных бесчисленным жизням, которые копошатся в ночной тьме. Какое-то сродство было между ней и этой живой поэзией, и в теплой белизне летнего вечера ей чудились неземные содрогания, трепет неуловимых надежд, что-то близкое к дуновению счастья. И она стала мечтать о любви...».

Последние строчки я уже просто угадывал. Свеча давно погасла. Стало почти темно, и только бледное сияние исходило от венчика на лбу покойной. А провожавших все не было... Теперь я отчетливо слышал, как ветер шумит вверху... как разноголосно скрипят деревья... и что-то железно звякает совсем рядом... Крылья ночной птицы прошлестели над головой... В кустах блеснули чьи-то глаза... И белый венчик в гробу стал еще светлее... Вот когда я понял, что такое «волосы дыбом». Я бросил книгу на край гроба и побежал почти наугад, спотыкаясь о плиты и шарахаясь от смутных надгробий... Слава богу, фонарь над конторой еще горел, а там и до ворот было недалеко...

Дома все сидели за накрытым столом. Поминали дядю Бориса. Фрима с опухшим от слез лицом подвинулась, уступая мне место.

— Видишь, — прошептала она сипло, — вот и не стало нашего дяди Бори...

Соломон разлил водку по рюмкам

— Да! — сказал он, — Нет больше моего друга! С которым столько гешефтов было сделано! Столько радости, сколько нашим врагам и не снилось!.. Нет Бори! Нет молодого мужа! Нет любящего отца!

— Готыню! Нет Яши! — зарыдала вдруг баба Злата.

— Бабушка! — плача, вразумляла ее сестренка Жанна. — Твой Яша погиб в Финскую! А теперь моего папу, Бориса, убили!

— Будем верить, — продолжал Соломон, — что устроит его наш еврейский бог в своих садах! И, как говорят гойи, пусть земля ему будет пухом! Светлая ему память! Амен!

— Амен! — сказали все хором и выпили, не чокаясь...

Ночью, когда все уже спали, раздался настойчивый стук в ворота.

— Здесь живет мальчик, который вечером был на кладбище? — услышал я.

— Готыню, во что ты еще нас впутал! — в сердцах спросила мама не то бога, не то меня. — Иди уже!..

За воротами стояли мужчина и женщина.

— Мальчик, это ты забрал нашу книжку? «Жизнь» Мопассана?

— Не-е-е... — проблеял я. — Я ее там оставил...

— Значит, в темноте не заметили и закрыли крышкой... — успокоил женщину мужчина. — Похоронили вместе с сестрой...

«Вот тебе и «Жизнь»! — подумал я...

СЧАСТЬЕ ЗА ПЯТЬ РУБЛЕЙ

Соломон стал весь какой-то задумчивый. После скандала в цирке он малость поскучнел. К нам почти не заглядывал. Корову Любку вернул домой. И она снова давала нормальное молоко. Только иногда по старой памяти принималась приплясывать. Особенно, когда под окном стучала деревяшка Соломона. И корова слышала его хриплую песню:

По марам, по волнам,

Нынче здесь, завтра там.

Эх, по марам, марам, марам, марам...

— Стой смирно, шлимазл! — прикрикивала на Любку тетя Катя. — Уланова на мою голову!

Соломон через кладбище ходил к цыганам.

— Ох, чует мое сердце, что-то он опять затевает, — подозревала мама. — Лишь бы к Грише не цеплялся...

Как бы ни так! Соломон подловил папу, когда тот возвращался с работы. И потащил его к воротам кладбища. Они долго говорили о чем-то. Соломон размахивал руками и притопывал своей деревянной ногой. Потом к ним вышел цыган Ефрем, и теперь

они толковали втроем. Кончилось все тем, что Соломон хлопнул папу по плечу и весело запел:

Ты, марак, красивый сам собою,

Тебе от роду двадцать лет.

Ты возьми меня, марак, с собою,

Что ты скажешь мне в ответ?

И затюкал деревяшкой по улице, пугая здешних собак:

По марам, по волнам,

Нынче здесь, завтра там.

Эх, по марам, марам, марам, марам,

Нынче здесь, а завтра там...

И скоро на базаре снова застучали топоры. Ефрем и Соломон строили что-то на месте снесенной уборной. Я приходил смотреть после школы. Там почти всегда вертелся мой дядя Сюня.

Получался маленький домик с одним окошком. Ларек.

Как-то раз Соломон запряг нас в работу.

— Вот вам ведро! Вот краска! Воду принесете с колонки... Размешаете и начинайте красить! — приказал он.

Вот те раз! Красить! Да я с красками последний раз имел дело в детском саду. Маме пришлось стричь меня наголо, потому что краска попала какая-то приставучая.

Но делать нечего. Соломон сказал... И мы с дядей поплелись на колонку.

Краски мы вбухали в ведро немеряно. Получилось что-то вроде картофельного пюре. С большими комками. Как у мамы. Соломон посмотрел и стукнул меня по затылку.

— Позор еврейского народа! — обозвал он нас. — Краска должна быть, как жидкая сметана! — учил он, разливая наше пюре по ведрам.

— Вы, небось, и красить не мастера?.. Ефрем, покажи им!

Ефрем окунул кисть в краску, дал ей стечь и аккуратно провел по доске. Потом по соседней... И доски засветились синим пламенем. Смотреть на это было одно удовольствие.

— Усекли?

Ефрем всучил мне кисть и застучал молотком по крыше.

А без песни он не мог:

— Шел трамвай десятый номер,

На площадке кто-то помер.

Тянут-тянут мертвеца,

Ламца-дрица-оп-ца-ца!

Под эту веселую песенку я и начал красить. Конечно, получалось немножко не так хорошо, как у Ефрема. Скажем прямо, очень сильно не так. Краска почему-то стекала тощими ручейками, а в некоторых местах никак не хотела цепляться за доску. Но я старался. А рядом махал кистью мой дядька. Заляпывал сарай синими кляксами.

— Кто ж так красит!

За моей спиной нарисовались два моих школьных друга. Алексей и Саша. Обоим что-то не нравилось в моей работе. Алексей прямо писал кипятком:

— Эй ты, мастер тят да ляп! Кто ж так красит!

Он стал вырывать у меня кисть.

— Давай покажу, как надо!

— А ты откуда знаешь?

— От верблюда!.. Что ж, я не видел, как красят декорации!

Алешка был из «театральных». Его вместе с театром вывезли из Москвы. А его отец работал режиссером. Да не простым, а самым-самым главным.

Я отдал кисть и стал смотреть, как старается Алешка.

И правда, у него получалось. Краска ложилась ровно. Не стекала и не разлеталась в стороны.

— Дайте, и я попробую! — пристал Сашка к Сюне. Тот и спорить не стал. Уселся в тенечке и задымил, как паровоз.

— Смотри-ка! — сказал Соломон, оглядывая нашу работу. — Прямо как Дворец Советов!

Он показал Алексею какую-то надпись на бумажке.

— А это ты нарисовать можешь?

Алешка аж язык высунул от старания. И под крышей ларька стало вырисовываться его название: Л...О...Т...Е...Р...Е...Я. Лотерея. А потом буквами поменьше Алешка написал: **Бесприигрышная**. Получилось, конечно, попроще. Но зато по всему верху Сашка сделал яркую надпись: **«В помощь фронту»**.

Лотерея открылась на другой день. За окошком стоял Соломон.

— Больше доверить никому! — говорил он.

Билет стоил пять рублей. На обороте рукой Соломона было написано название выигрыша: тюбетейка, деревянная дудочка, карандаш с ластиком, кедровая шишка с орехами, почтовая открытка, зажигалка из гильзы, пузырек одеколона и еще много вся-

кой всячины. Но можно было выиграть и деньги: рубль, три рубля, пять, десять. И даже двадцать пять! Это был главный выигрыш.

Сколько раз я ни заглядывал на базар, к Соломону всегда стояла очередь. Больше всего было раненых из госпиталя. Люди совали потные пятерки и выбирали из веера разложенных билетов самый верный. — Ну-у... — отходили они с дудочкой или шишкой. Но иногда вдруг раздавался радостный вопль: — О-о!.. И толпа недоверчиво стояла: — Два-адцать пя-я-ять?

По выходным папа теперь подменял Соломона в ларьке. Лотерея по-прежнему собирала толпы людей. Да вот беда: игра оказалась заразной. Как-то раз папа выложил маме двадцать пять рублей. А зарплатой еще и не пахло.

— Откуда? — спросила мама.

— В лотерею выиграл! — гордо объявил папа.

— Герш! — закричала мама. — Ты мишигенер! Ты ума сошел! Как ты можешь! Соломон узнает, он тебя из своей деревяшки пристрелит!

— Ну, я же на свои деньги!

— Какие свои! Ты от собственных детей отрываешь!

Папа высыпал на стол целую кошелку лотерейных выигрышей. У меня аж глаза загорелись. Но мама только руками всплеснула.

— Вей так из мир!.. Герш, когда ты повзрослеешь! Кому нужно это барахло!.. Завтра же, пока Соломон не пришел, отнеси это обратно!

Лучше бы папа послушался. Но он же был, как говорила мама, упертый. Короче говоря, скоро Соломон стал жаловаться, что в папины дежурства билеты расходятся хорошо, а выручка куда-то уплывает. Он еще не догадывался, что это папа «берет взаймы» из лотерейной кассы...

В лотерейном ларьке гулял ветер. Никто ничего не выигрывал.

— Жулье! — загудели раненые из госпиталя.

Надо было папу спасти. И тут...

— А ты напиши на билетах «Театральный номер»! Вот и будет выигрыш! — предложил мой друг Лешка.

— А где ж я этот номер возьму?

— А мы на что!

И в следующее папино «дежурство» обалдевшего покупателя ждал сюрприз.

— Ой-ой-ой! — завопил он, размахивая билетом. — Я выиграл театр!

И тут же «на сцену» выскочили Лешка и Саша Атлантов.

— Здравствуй, Бим!

— Здорово, Бом!..

Ну, они были как настоящие клоуны! Один дурней другого... Особенно, когда Бом путал все на свете.

— Нажмешь кнопку, выйдет тетка! — объяснял Бим.

— Нажмешь тетку, выйдет кнопка! — повторял Бом.

Публика смеялась и хлопала. Даже папа высунул голову в окошко, чтобы лучше видеть... А Лешка и Саша кланялись, как настоящие артисты.

Следующим «счастливым» оказался раненый моряк. У него из-под халата выглядывала тельняшка.

— Полундра! — закричал моряк, разглядев билет. — Даешь театр!

— Теперь твоя очередь! — вытолкнули меня ребята.

Делать нечего. Я встал перед лотерейным ларьком, выставил вперед правую ногу и громким-громким голосом объявил:

— Александр Сергеевич Пушкин! «Зимний вечер»!

— Ну, давай! — согласился моряк.

— Буря мглою небо кроет, — начал я. — Вихри снежные крутя...

— Ишь ты! — удивился моряк.

Я старался читать во весь голос, «выразительно», как учила нас Анастасия Георгиевна.

— ...То по кровле обветшало

Вдруг соломой зашуршит.

То, как путник запоздалый...

И тут я запнулся. Как будто память отшибло. А все из-за того, что прямо из толпы на меня смотрели усаые глаза. Ну да, кроме глаз и усов, вначале я ничего другого не видел. Но потом проявилось и лицо. И было это лицо Алешкиного отца. Того самого режиссера из театра. Самого, самого главного.

Что ему здесь надо? — думал я. — И что это он так на меня уставился.

— К нам в окошко постучит!.. К нам в окошко постучит! — шептали мне из-за ларька ребята.

— К нам в окошко постучит! — подсказывал кто-то из зрителей.

А я молчал. Очень меня Алешкин отец напугал. Он же настоящий режиссер. Все-таки я собрался с духом и начал сначала:

— *Буря мглою небо кроет,*

Вихри снежные крутя...

И надо же! На словах «то как путник запоздалый» я снова запнулся!

Дальше я не мог вспомнить ни одного слова.

— Э, брат! — грустно сказал моряк. — Да ты не Пушкин!

А я сейчас даже и не понимал, кто такой Пушкин. От взгляда режиссера голова делалась пустой. И внутри какой-то голос приказывал мне: «Расскажи! Расскажи! Расскажи!»... Что рассказать?

— А я видел, как самолет упал! — неожиданно для себя выпалил я. — Учебный. Это когда мы корову в цирк вели. Он кружил-кружил над улицей. А потом все ниже и ниже.... И вдруг бац! Носом вниз и прямо в дом!.. Я выскочил, смотрю: вместо трубы из крыши хвост самолета торчит!..

— Илюшка! — Оборвал мой рассказ Алешка. — Не завирайся!

— Ты чего? — успокоил я его. — Он же упал прямо в дом, где доктор живет!

Народу мой рассказ понравился. Раненные смеялись и хлопали. И знаете — главный режиссер тоже смеялся и хлопал. Потом он подозвал Алешку и что-то передал ему.

Вот! — сказал мой друг. — Это билеты в наш театр. Отец говорит, пусть раненные посмотрят «Гамлета». А то на галерке много пустых мест. Актеры расстраиваются.

Мы отдали билеты папе, и он объявил из окошка:

— Новые выигрыши — билеты в театр! На... — Тут он запнулся. — На кого?

— На «Гамлета»! — заорали мы в один голос.

— У-у! — загудели в очереди. — Мы в вашем театре уже все видели!

— Это новая постановка! — стал объяснять Алешка. — Гамлет остается жив и идет на войну с Германией!

— Ух ты! — обрадовались в очереди. — Даешь «Гамлета»!

И все стали хватать лотерейные билеты. Папа не успевал складывать пятирублевки.

— Пять рублей! Пять рублей! — приговаривал он. А явившийся Соломон потирал руки.

— Счастье за пять рублей! — бодро выкрикивал он.

Счастье доставалось не каждому.

— Выиграете завтра! — успокаивал Соломон тех, кому выпал пустой билет. — Театр никуда не денется!

— Знаешь что? — сказал Алексей, когда билеты кончились. — У меня для твоего дядьки работа есть.

— Да ты что! — Я решил, что он шутит.

— Я серьезно!.. Понимаешь, у нас сегодня вечером «Гамлет». А всех наших стражников и могильщиков забрали на войну.

— И Принца Датского?

— Не-е, у него бронь. И у отца, и у всех заслуженных и народных... Короче, твой дядька мог бы и театр выручить и денежку заработать.

— Ты же знаешь, он «того»... — поскреб я в затылке. — Двух слов связать не может...

— Да кто от него требует! Его дело надеть камзол, взять алебарду и молча стоять в углу!

— Ну, не знаю...

— Да и знать нечего! — поддержал друга Сашка. — Собирайтесь!

Алешка усадил нашу компанию рядом со сценой — там, где стояли театральные прожектора. Зал был почти полон. Особенно много было выздоравливающих из госпиталя. Все ждали, как Гамлет победит врагов. Мне тоже было интересно. Я ведь смотрел этот спектакль три раза, и ни разу ничем хорошим дело не кончалось.

Тут заиграла музыка, и открылся занавес. Стражники сидели у костра и пели знакомую песню:

— Бьется в тесной печурке огонь,

На поленьях смола, как слеза,

И поет мне в землянке гармонь

Про улыбку твою и глаза...

— Во! — толкнул меня в бок Алешка. — Что наш режиссер придумал! Чтобы люди не забывали, что идет война!

Я его не слушал, я искал своего дядю.

— Да вот он! Смотри! — шепнул мне Алешка. И показал вниз.

И, правда, прямо внизу, под нами, стоял Сюня. В костюме стражника и с алебардой. Вид у него был очумелый. Видно, никак не мог понять, что тут делается и с какого он бока-припека...

Но вот появился и сам Гамлет. Он играл на гармошке и пел ту же песню:

— Ты сейчас далеко-далеко.

Между нами снега и снега.

До тебя мне дойти нелегко,

А до смерти — четыре шага.

И тут я понял, что Сюня внимательно следит за действием. Ему было любопытно... Он крутил головой за перемещением актеров, слушал, что они говорят... И когда Гамлет задал свой вопрос: «— Быть или не быть?», Сюня решил, что спрашивают у него. Он покачал головой и ответил своим любимым:

— Хвейс?... Я знаю?..

А когда Гамлет взял в руки череп и сказал:

— Он погиб, как Матросов, закрыв своим телом вражескую амбразуру! — мой дядька опустил алебарду и захлопал вместе со всем залом.

А потом на его лице появилось беспокойство. Что-то ему мешало. Он скрючился. Я подумал, не прихватило ли ему живот? С ним такое бывало. И в самый неподходящий момент... Потом он стал тереться животом об алебарду... а потом откровенно скрести рукой низ живота... и даже еще ниже... Первыми заметили это артисты. Они стали незаметно подавать ему знаки. «Прекрати, мол!»... Но Сюня уже не мог остановиться. Я понял: моего бедного дядю кусает клоп! У нас дома их было полным полно.

И, самое забавное, что дядина почесуха оказалась заразной. Чесаться стал другой немой стражник... потом призрак, «тень отца Гамлета»... потом сам Гамлет... Публика была от смеха.

— Занавес! — закричали за сценой.

Когда мы бежали из театра, Алешка, конечно, приставал ко мне:

— Это твой дядька! Ты за него и отвечаешь!..

И еще требовал, чтобы мы нашли костюм и алебарду и в тот же вечер вернули в театр.

— Меня так и так отец убьет! А если и реквизит пропадет!..

Мы прочесали весь город. Дома его не было. Рынок давно закрылся. И в нашем ларьке было темно. Сюня пропал.

И вдруг я вспомнил, что он часто затаскивал меня на корабельное кладбище. На берегу Иртыша громоздились друг на дружке развалины корабликов. Сюня любил держаться за штурвал какого-нибудь из них, порулить. При этом губами он изображал гул корабельного мотора.

Так и оказалось. Мы нашли Сюню у руля. «Гру-у-у!» — рычал он, крутя штурвал. А иногда вглядывался в сложенные трубочкой ладони и кричал: — Быть ли не быть!

Мы так обрадовались, что стали дружно толкать ржавый катер в воду. Сюня загудел еще сильнее. Катер закачался на мелкой волне ...и стал тонуть... «Наверх вы, товарищи, все по местам!» — запели мы хором. А Сюня, между тем, торжественно опу-

кался в воду. Это было красиво. Мы даже чуть-чуть расстроились, когда вода, дойдя моему дяде до пояса вдруг остановилась.

Нам пришлось снимать штаны и ботинки и силой отрывать Сюню от руля. А он все кричал. Только теперь у него получалось: — Пить или не пить!

Так мне слышалось.

На другой день у лотерейного ларька собралась толпа. Раненные возвращали театральные билеты и требовали отдать им деньги. Соломон вздыхал и нехотя раздавал мятые пятирублевки. Спорить с ранеными, видно, боялся.

А потом пришла какая-то «ревизия» и посчитала, сколько продано билетов и сколько должно быть денег в кассе... Лотерея накрылась.

Вечером у нас дома был скандал. Кричали все: сам Соломон, его приятель Марк, рыдающая Фрима, плачущая мама и даже тетка Рейзл.

Громче всех разорялся Марк, который дал папе денег взаймы и теперь требовал их обратно. В руке у него почему-то был горящий керосиновый фонарь на длинной ручке. Он размахивал им, наседая на папу. А бедный папа только загораживался газетой.

Денег у папы, конечно, не было. И где он их возьмет, не знал никто: ни он сам, ни мы, ни Марк. Только Марк думал, что если он будет шуметь и размахивать фонарем, это ему как-то поможет. Ну, шуметь-то мы тоже умели.

Первой вступила тетка Рейзл.

— Отойди от кассы, капцонес! — скомандовала она. — И чтоб я твоего голоса до самых твоих похорон не слышала!

Потом подала голос Фрима:

— Холеры в бок тебе мало? Тебе же русским языком сказано: — Дрей мих нит а бейц!

Хозяйка, тетя Катя, объяснила совсем понятно:

— С этой мешпухи, кроме головной боли, вам ничего не светит! Они у меня уже два года живут. И что я через это имею?.. Как говорится, пару мелких пустяков... Так что идите себе домой и кушайте спокойно... что вам там по карточкам отоварили!

А мне было жалко папу. Я вдруг вспомнил, что за все мои годы он не сказал мне худого слова, ни разу не шлепнул меня. Даже тогда, когда я очень этого заслуживал. А вот я когда-то, еще до войны, обозвал его «дураком». И мне стало стыдно на всю жизнь.

ПОСЛЕДНИЙ ГЕШЕФТ СОЛОМОНА

Утром кто-то по привычке включил радио. «Весь день двенадцатого октября наши войска вели наступательные бои...» прохрипел репродуктор. Но тут к нему подскочила тетка Фрима и выдернула шнур из розетки.

— Слышать их не могу! — кричала она. — Снова будут врать... врать... врать!.. А сами гонят людей! Как пушечное мясо!.. Кто там считает!.. Тыщей больше, тыщей меньше!.. Всех на убой!.. Как моего Бореньку!..

Честное слово, мне было обидно!.. За армию, за всех, кто воевал и кто ими командовал. Это же была война...

О, смотрите! — заявила как-то раз мама. — Этот мишигаст опять что-то затевает!

И, правда, с утра пораньше Соломон вертелся у ворот нашего кладбища. Он хватал за пуговицы директора дядю Васю и что-то горячо ему толковал. Дядя Вася задумчиво чесал затылок и все поглядывал в сторону своей ограды. Потом махнул рукой, соглашаясь. И Соломон весело запел:

По марам, по волнам,

Нынче здесь, завтра там!..

— Что этот шлемазл придумал? — забеспокоилась мама.

Ждать долго не пришлось. Через пару дней нас разбудил стук молотков. Цыганские друзья Соломона прилаживали над воротами кладбища большую вывеску с надписью:

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМЕНИ ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ

Вот, значит, как! Про кладбище давно говорили, что его собираются закрыть. Но какой из него парк культуры?.. Да, видно, Соломон знал, какой...

Возле конторы работающие женщины устанавливали карусель и вкапывали качели. Командовал всем Соломон. Вот, значит, какой новый гешефт он придумал. Ну, голова!

Нас с Ленькой поставили на покраску «аттракционов». Так называл эти ржавые железки директор кладбища... нет, теперь уже парка, дядя Вася.

— Краску жалеите! — наставлял он нас. — Мы еще и ограды на могилках покрасим!

— Ограды... ограды... — задумчиво сказал Соломон. И в глазах его что-то блеснуло.

Открывали Парк Культуры в воскресенье. Народ пошел с самого утра. У ворот всех ожидало самое настоящее представление. Ефрем в красной рубашке, подпоясан-

ной ремешком, играл на скрипке, девочка-цыганка звенела бубном, маленькие цыганята ходили колесом по кругу. А в середине круга скакала на коне рыжая девочка Соня.

Билеты продавала... Ну, конечно, моя бабушка Злата. Она отрывала их от трамвайного рулончика. За пять рублей для взрослого, за рубль для детей. Красноармейцы бесплатно.

Мы с моим дядей Сюней крутили карусель. Пять рублей — пять кругов. Ленка менял пластинки на патефоне. А сам дядя Вася водил экскурсии.

— Энто кладбище казацкое. Некоторые называют его казахским. Но это теоретички и прахтички чушь собачья! Где вы видите хучь одного казаха? Тольки на базаре... А здесь Русь православная! Бачьте, имена-то какие: Барановы... Тереховы... Худяковы... Тёмкины... Ну, Тёмкины, оно, верно, дело темное... И ангел у них с книгой... Но зато Кузнецов Владимир Петрович! Купец первой гильдии! Городской голова!.. Эсплутатор, конечно... Но по неразумению исторического материализму...

Он бодро хромал по дорожке. А за ним, рассыпая подсолнечную шелуху, валом валила любопытная толпа.

— А вот совсем свежак! В прошлом году дуба дал. Вайсберг! Борис Соломонович! Ленина нашего, Владимира Ильича, до самой смерти лечил!..

Он повел народ дальше. А мы с Сюней бежали по кругу, как заморенные лошади. Хорошо, что в Парк заскочили мои школьные друзья, Саша с Алешкой. Они крутили малышню. Цыганята раскачивали качели. Соня катала желающих на лошади. Девуцы визжали. Оказывается, и на кладбище может быть весело.

А на другой день я понял, почему у Соломона блестели глаза. Оградки-то с могилки снимали. Приехал газогенераторный грузовик (ну тот, который топят дровами), и цыганская бригада быстренько набила его некрашеным железом.

— Ой, Соломон Давидович, чегой-то стремно мне! — волновался дядя Вася. — Бумаги же от власти не было. Как бы ни того!..

— Не дрейфь, Вася! Мы же с тобой патриоты! Металл фронту! Из этих оградок танк построят!..

— А все же с бумагой как-то оно спокойнее...

— Будет тебе бумага! Я с кем надо договорился... В следующие выходные сюда таки-ие люди придут!

Люди пришли. И что-то их было многовато. Скандаить они начали еще у ворот.

— Какие билеты!

— С каких это пор!

— А ну, бабка, испарись!

Оказывается, был родительский день. И полгорода пришло помянуть своих родных.

— А что это за Парк Культуры! — кричали люди. — И причем здесь Зоя! Отродясь никаких Зой здесь не вешали!

А что началось, когда они не увидели оград вокруг могил! Оград не было, зато на скамейках сидели развеселые парни в больничных халатах. А на надгробных плитах стояли стаканы в окружении соленых огурцов и вяленой рыбки. Раненые гуляли.

Еще веселее было вокруг конторы. Играл патефон: « Легко на сердце от песни веселой!». Влетали качели. Скакали на лошадях цыгане. И мы с Сюней крутили карусель.

И вот тут-то оно и явилось. Городское начальство. Штатское и военное. Дальше можно и не рассказывать.

На следующее утро Ефремова бригада снимала вывеску с ворот. Грузовик привез оградки. И кладбище снова стало кладбищем. Этот гешефт Соломону вышел боком. Он отрезал штанину с одной ноги, чтобы все видели его протез, начистил орден и пошел устраиваться в школу.

Но, видно, в этот раз что-то не клеилось. Говорили, что Соломоном интересуются «там». Мама беспокоилась, как бы он и папу за собой не потащил.

— Теперь из-за ваших гешефтов я останусь без мужа! — кричала она. — А дети без отца! Сколько раз предупреждала Герша: — Не связывайся с Соломоном! Он-то всегда сухим из воды выйдет!

— Мадам! Ваши крики мешают мне сосредоточиться! — отбивался коварный Соломон.

Не такой он был человек, чтобы кто-то решал за него, как ему жить.

Сначала Соломон завел непонятную дружбу с бабаем, который приезжал на верблюде к нашим казахским соседям. Он подолгу толковал с ним, и даже несколько раз ездил к нему в аул, в соседнюю область.

А через несколько дней в городской газете появилась статья на первой странице: «Патриотический почин тружеников тыла».

Можете себе представить! Наш Соломон собирал санитарный обоз для фронта! Он уговорил простодушных казахов запрячь своих верблюдов в кибитки на санях и отправиться через всю Сибирь, через Москву на Украину, где шли бои. Он даже нашел

врачей и санитарок для своего обоза. А городские власти устроили сбор денег на покупку лекарств и медицинских инструментов.

Тети Катины ходики на стене тикали ровно и трудолюбиво. В отличие от меня. Надо было делать уроки, а я вместо этого перерисовывал на тетрадную обложку фотографию из папиного паспорта. Иногда, чтобы добиться хоть какого-нибудь сходства, я посматривал на Сюню.

Только он за последние дни как-то похудел и потемнел лицом. И весь стал каким-то мрачным и посторонним для нас. Соломон не хотел брать его в свой обоз.

— Мне и так цидрейтеров хватает! Каждый бабай как дырка в голове!

Сюня не отставал:

— А то меня заберут на лесоповал!..

Ходики тикали. За окном темнело. Сюня молчал. Только вздыхал иногда. А за дверью вдруг слышался шум, и в комнату ввалились два здоровенных красноармейца. На них были шапки-ушанки, белые тулупы и новенькие валенки.

— Григорий Абрамович здесь проживает? — громко спросил один из вошедших.

— З... здесь... — запинаясь, ответил я.

— Приказано доставить в военкомат! Повестка вот! — И он положил на стол сложенную пополам бумажку.

Сюня почему-то встал со своего стула. И стоял молча, не поднимая глаз.

— Паспорт? — протянул руку красноармеец. Я, как во сне, медленно-медленно подтолкнул папин паспорт к нему. Он раскрыл его, поводил глазами с фотографии на Сюнино лицо и обратно.

— Одевайтесь теплее! — приказал он. Вложил повестку в паспорт и сунул все вместе в полевую сумку.

Сюня все также молча сдернул с вешалки свою телогрейку, намотал на шею шарф и напялил на голову лохматую от старости ушанку.

— Пошли? — не то спросил, не то приказал боец.

— Фартиг... — только и сказал мой дядя. — Готов...

Они ушли. Я сидел, как... Ну, я тогда еще не знал слова «оцепенение». Но был точно — оцепенелый. Я никак не мог понять, что же я сделал. Как я, можно сказать, собственными руками отправил на верную смерть своего дядю? Что на меня нашло?.. И почему он сам так покорно пошел на этот обман? Я понимал, что жизнь у него не сахар.

Но я-то думал, что сам он этого не понимает. Как говорила мама: — Чем короче ум, тем меньше забот!..

Совсем стемнело. Но я сидел, не зажигая света. Один за другим возвращались с работы родные. Позже всех пришел папа. Он-то и спросил:

— А где Сюня?

— Забрали, — коротко ответил я.

— Куда?

— На фронт... Приходили за тобой... тебя не было... Взяли его с твоим паспортом.

— Перепутали?

Я не ответил.

— А что же ты промолчал?

— Н... не знаю...

— А он что?

— Ничего... Пошел себе...

Папа заметался по комнате, стал торопливо натягивать пальто.

— Я пойду!.. Объясню!..

Первой на его пути встала Фрима... Потом поднялась мама... Тетка Рейзл толкнула его на стул.

— Сиди!

— Герш, но он же... — не договорила мама. Но все поняли, что она хотела сказать.

— А как же? — спросил папа. И тоже не договорил.

— Вус? Вер? — бестолково озиравась баба Злата.

И тогда папа опустил голову на руки и заплакал.

— Израиль... — бормотал он сквозь слезы. — Израиль...

Обняв его плакала мама... Плакала Фрима в углу... Отвернувшись к стене, плакала тетя Роза... Только я не слышал их плача. Заглушая его, все громче и громче тикали тети Катины ходики.

А ночью мне приснилась война. В поле стояла одинокая пушка. Она не стреляла, Некому было... Только издалека, через все поле, тащился к ней, прихрамывая человек в драной телогрейке. На плече он нес деревянный ящик. Ящик был тяжелый, поэтому человек не мог идти быстро. Но он спешил. И он дошел... Сбросил ящик с плеча. Ударом сапога сбил с него крышку. И достал что-то длинное и тусклое. «Снаряд!» — догадался

я... Человек в телогрейке вставил снаряд в орудие, покрутил какие-то ручки и дернул за шнур. Выстрела я не слышал — сон был немой. Но человек прижал ладони к ушам, а когда отнял их, ладони были в крови... Потом он достал из ящика еще один снаряд... И снова дернул за шнур... А потом вдруг все поднялось дыбом... все закрылось дымом пополам с молниями... И по земле покатила лохматая ушанка с красной звездочкой во лбу...

Наша улица была забита верблюдами и саними. Соломон собирал свой санитарный обоз. На сани грузили какие-то ящики с красными крестами, рядами укладывали носилки. Все было как по правде.

Провожали нас на главной площади города. Опять шел снег, но метели не было. Хлопья падали на кудлатую шерсть двугорбых, на крыши кибиток, на пуховые платки санитарок, которые торопливо укладывали медицинский скarb. Тут же сустились цыгане. Их кибитки пристроились в конце отряда. Ефрем решил вывести свой табор куда-нибудь поближе к теплу. «Как Моисей свой народ из Египта», — говорил Соломон.

Мне казалось, что провожать отряд пришел весь город. Все было торжественно и красиво.

Какой-то большой начальник говорил речь. Про партию и правительство. Про товарища Сталина. Великого вождя трудящихся, который на труд и на подвиги нас вдохновил. Про славный почин сибиряков. Про «корабли пустыни», которые принесут свою силу и выносливость прямо на линию фронта... Про Соломона он почему-то ничего не сказал.

Потом оркестр заиграл марш. И отряд двинулся в путь. Верблюды шли, не торопясь, видно, берегли силы для долгого пути. И мы все шли рядом.

Но вот и город кончился.

Верблюжий отряд уходил по снежной дороге. Только черный дым из «буржоек» извилистой полосой тянулся в белом тумане. Он, словно занавес, отделял нас — и тетю Рейзл, и бабушку Злату Семеновну Таран, и молодую вдову Фриму, и сестер-сирот Жанну и Веру — от хитроумного Соломона. От рыночной суеты, от лотерейных билетов, от пляшущих коров и прочих цирковых фокусов — от прошлого, которое Соломон увозил с собой. С нами оставалось наше будущее. Разное. Но другое.